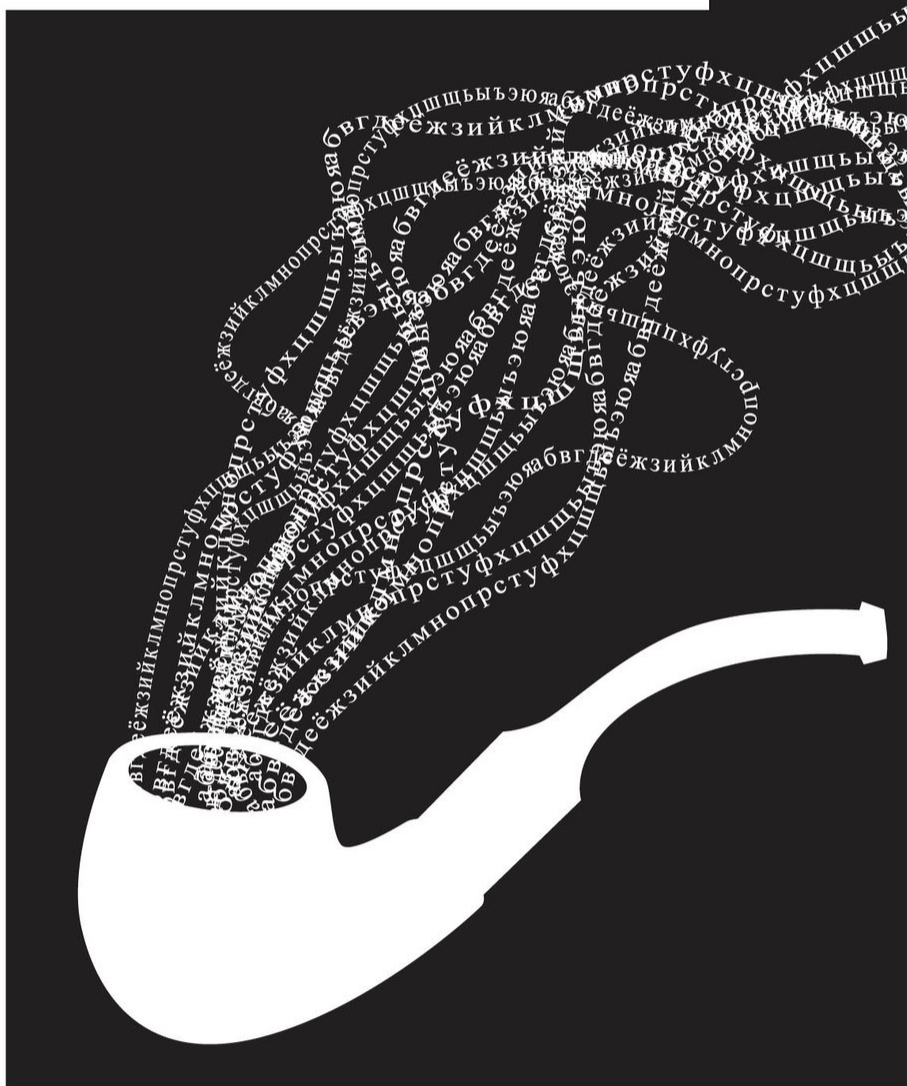


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Михаил
Вайскопф



ПИСАТЕЛЬ
СТАЛИН

Язык, приемы, сюжеты

Научная библиотека

Михаил Вайскопф

**Писатель Сталин.
Язык, приемы, сюжеты**

«НЛО»

Вайскопф М.

Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты / М. Вайскопф —
«НЛО», — (Научная библиотека)

ISBN 978-5-44-481363-8

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.

ISBN 978-5-44-481363-8

© Вайскопф М.

© НЛО

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ	6
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ	8
ГЛАВА 1	13
Литературная эрудиция	13
Отступление головоотяпов на ленинские позиции, или Победа марксизма над языкознанием	20
Щупальца статного орла: сталинский бестиарий	23
В капкан под дудку и мельница людоедов: агрегатные метафоры	27
Мать, которая родила	30
Почва основы: тавто-логика	33
Ассоциации по смежности	39
Сопричастность вместо аналогий	42
Процент истины	46
Часть или целое	50
Внутри и снаружи, «мы» и «они»: отлучение от целостности	53
Мы и я: между массой и личностью	57
Мы и сверх-мы: вычленение метафизического субъекта	60
Хозяин и работник	65
Копыта партии	67
Сверхжесткость и сверхрастяжимость понятий	69
Братья и сестры Сталина	76
Гиперболизация и взаимообратимость выводов	79
Носитель короны	85
Кумулятивные построения	90
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Михаил Вайскопф

Писатель Сталин Язык, приемы, сюжеты

Елене Толстой

В некоторых адах виднеются как бы развалины домов и городов после пожара; тут живут и скрываются адские духи.

Э. Сведенборг

– Сталин снится?

– Не часто, но иногда снится. И какие-то совершенно необычные условия. В каком-то разрушенном городе... Никак не могу выйти. Потом встречаюсь с ним.

Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Со времени первого выхода моей книги прошло почти два десятилетия. К сожалению, за эти годы она не утратила актуальности – напротив, оказалась еще более своевременной ввиду неудержимой ностальгии по Сталину, обуявшей сегодняшнюю Россию¹. С тех пор появилось немало его текстов, ранее не печатавшихся. Еще большее их число по-прежнему спрятано. Наследственный психоз секретности одолевает постсоветские власти², счастливо совпадая с ленью архивных церберов.

Как я и предполагал, однако, новые публикации не внесли сколь-нибудь радикальных изменений в ранее проделанный мною филологический анализ. В центре внимания по-прежнему остается тут язык Сталина, высвечивающий мифологические конструкты его личности. После моей монографии начала 2000-х новых концепций в этой области, насколько я знаю, не появилось³. Тем не менее обнародованные затем и ранее недоступные сталинские сочинения или какие-то их фрагменты зачастую позволили мне уточнить и расширить существенные положения книги, придать им несколько иной ракурс.

Как всегда, в писаниях любого автора многое помогают понять черновики – в данном случае это скорее заготовки его выступлений. По справедливому замечанию Олега Хлевнюка, «письменные тексты Сталина были скроены гораздо лучше, чем выступления-импровизации»⁴. Но именно это обстоятельство и придает особую ценность сталинскому косноязычию, приоткрывая подспудное движение его воли, с трудом изрекающей самое себя. Отсюда среди прочего частое появление у меня ссылок на сборник сталинских тостов, составленный и прокомментированный В. А. Невежиным (хотя и курьезно оформленный как его собственное произведение)⁵.

Добавочным подспорьем послужили и заключительные тома сталинских Сочинений, выпущенные Р. Косолаповым. К сожалению, он произвел там целомудренные лакуны, компенсируя их благонамеренными фантазиями. Так, в 18-м томе из документов военных лет Косолапов изъясил, в частности, поздравления англо-американским союзникам по поводу их «блестящих побед», включенные самим генералиссимусом в состав его книги о войне, – словом, оказался большим сталинистом, чем Сталин. Зато, как все его истовые почитатели, он подражает своему кумиру в тяге к фальсификациям. Если в 15-м томе это были мнимые сталинские сожаления касательно конференции в Ванзее, упредившие ее на год, то в томе 18-м их уравнивают вещи сентенции вождя о происках мирового сионизма, якобы высказанные им в беседе с А. Коллонтай и датированные 1939 годом⁶ (казусы, в конце концов, того же сорта, что и сталинские проколы на московских показательных процессах 1930-х годов, не говоря уже обо всем прочем). Тем не менее я считаю своим приятным долгом поблагодарить г-на

¹ По замечанию Стивена Коэна, «„сталинский ренессанс“, как это называется в Москве, начался в бурные 1990-е при Борисе Ельцине, первом советском президенте, и шел на сверху, а снизу». – *Cohen St. The Victims Return: Survivors of the GULAG after Stalin*. London; New York: I. B. Tauris. P. 168.

² «Без огласки и каких-либо объяснений в 1996 году были вновь засекречены важнейшие, ключевые материалы. Их надежно спрятали в так называемом архиве Президента Российской Федерации», – с горечью пишет Ю. Жуков, эрудированный историк и умеренный сталинист с претензиями на объективность (более всего увлеченный, впрочем, партаппаратными и межведомственными интригами в сталинском руководстве). – *Жуков Ю. Иной Сталин*. М., 2005. С. 6.

³ Иное дело – разыскания в области самого новояза той эпохи, такие как ценная книга Д. М. Фельдмана «Терминология власти: Советские политические термины в историко-культурном контексте». М., 2006.

⁴ *Хлевнюк О. Сталин: Жизнь одного вождя*. М., 2015. С. 144.

⁵ *Невежин В. А. Застольные речи Сталина*. М.; СПб., 2003. В 2011 году составитель переиздал их, предварив тексты обширным обзором сталинских застолий, их организации и состава. Здесь и далее я довольствовался, однако, первым изданием.

⁶ На эту фальшивку указано в книге: *Курляндский И. А. Сталин, власть, религия*. М., 2011. С. 652, примеч. 223.

Косолапова и других сталинолюбов за то усердие, с которым они собирали также аутентичные материалы, пригодившиеся и для моего исследования.

Несколько технических и библиографических замечаний. Курсив во всех цитатах мой (*М. В.*). Графические выделения подлинника переданы полужирным курсивом. Мои ремарки, введенные в цитаты, заключены в квадратные скобки.

Предлагаемые здесь дополнения затрагивают, в частности, связь между теми или иными изворотами сталинского стиля и его политическими, в том числе внешнеполитическими, решениями. Добавлены, кроме того, три новые главки, одна из которых – «Имя Сталин» – окончательно проясняет вопрос о происхождении «великого псевдонима».

Тенденции, доминирующие в сегодняшней жизни, не вселяют обоснованных надежд на ее скорое улучшение. Сталинская туша вновь придавила Россию. Эта книга адресована тем, кто верит в возможность спасения.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Вероятно, заглавие этой книги многим покажется странным. О каком «писателе» может идти речь, если русский язык был для Джугашвили чужим, а его публицистика не блистала литературным талантом? Ведь сталинский стиль выглядит примитивным даже на фоне общеполитического волапука. В ответ на подобные возражения мне остается напомнить, что именно стиль, язык явился непосредственным инструментом его восхождения к власти, а следовательно, обладал колоссальным эффектом, причина которого заслуживает изучения. Не зря одну из последних своих работ Сталин посвятил языку – будто в знак признательности за его верную службу. Более развернутое и комплексное исследование должно было бы охватывать не только его авторскую, но и огромную редакторскую работу, получившую поистине тотальный государственный размах⁷. Сталин отредактировал Советский Союз. Но он же создал и основной текст для своего государства. Именно к этой, собственно писательской стороне его личности обращена данная книга.

В конечном итоге мы сталкиваемся здесь с поразительным парадоксом. Несмотря на скудость и тавтологичность, слог Сталина наделен великолепной маневренностью и гибкостью, многократно повышающей значение каждого слова. По семантической насыщенности этот минималистский жаргон приближается к поэтическим текстам, хотя сфера его действия убийственно прозаична. Очевидно, это были те самые слова, которые обладали одновременно и рациональной убедительностью, и, главное, необходимой эмоциональной суггестией, обеспечивавшей им плодотворное усвоение и созвучный отклик. Иначе говоря, они опознавались сталинской аудиторией как глубоко родственные ей сигналы, как знаки ее внутренней сопричастности автору.

На некоторые аспекты этой интимной связи давно указывалось в литературе. Я имею в виду тему так называемого сталинского православия, заданную еще в 1930-е годы В. Черновым, Л. Троцким, Н. Валентиновым, а позднее подхваченную А. Авторхановым, М. Агурским и сонмом других авторов⁸. Стандартный перечень этих конфессиональных влияний – в который мы еще внесем очень существенные коррективы – выглядит примерно так. От православной семинарии Сталин унаследовал жесткий догматизм, борьбу с ересями, литургическую лексику («очищение от грехов», «исповедь перед партией»), богословскую ясность и точность изложения, проповедническую тягу к доверительно-разъяснительной устной речи (которую он подчас имитирует в своих статьях и письмах: «Слышите?»; «Послушайте!»), ступенчатую систему аргументации (часто с перечислениями: «во-первых, во-вторых...») и пристрастие к вопросам и ответам, подсказанное катехизисом. Вопрос в том, насколько оригинален был Сталин в публицистической и прочей эксплуатации этого церковно-догматического наследия

⁷ Во введении к своей монографии «Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция 1936–1938» (М., 1997. С. 3) Л. Максименков отмечает, что «Сталин как политик был прежде всего редактором подготовленного для утверждения текста. Его решения вторичны по отношению к документу-первооснове. Он воспринимал российскую политическую культуру через письменный текст».

⁸ См., в частности: *Троцкий Л.* Сталин: В 2 т. Vermont, 1985. Т. 1. С. 130; *Беллони Л., Краус Т.* Сталин. М., 1989. С. 11; *Антонов-Овсеенко А.* Портрет тирана. Нью-Йорк, 1989. С. 72–73; *Валентинов Н. В.* Наследники Сталина / Сост. Ю. Фельштинский. М., 1991; *Авторханов А.* Загадка смерти Сталина (Заговор Берия). Frankfurt/M., 1976. С. 109; *Agursky M.* Stalin's Ecclesiastical Background // *Survey*. 1984. № 28 (автор решительно – хотя без особых на то оснований – приписывает себе приоритет в деле изучения «церковного» периода сталинской биографии); *Маслов Н. Н.* Об утверждении идеологии сталинизма // *История и сталинизм*. М., 1991. С. 51; *Текер Р.* Сталин. Путь к власти 1879–1929: История и личность (В оригинале: *Tucker R. C.* Stalin as a Revolutionary 1879–1929: A Study in History and Personality). М., 1990. С. 126–127; *Волкогонов Дм.* Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина: В 2 кн. М., 1989. Кн. 1. Ч. 1. С. 38–39, 64; Кн. 2. Ч. 2. С. 137–139 (кстати сказать, в документальной области это самая, пожалуй, информативная работа; в концептуальном же отношении она проникнута сильнейшим влиянием Троцкого, вполне естественным в годы перестройки); *Фурман Д.* Сталин и мы с религиозной точки зрения // *Осмыслить культ Сталина*. М., 1989. С. 402–429.

и как оно увязывалось с российской леворадикальной словесностью. Но это только частный случай рассматриваемой здесь темы. Важно проследить общую зависимость – как и персональные отклонения – Сталина от штампов революционной риторики и мифотворчества.

Такой подход требует адекватной методики. Пользуясь моделью Пола Брандеса, можно было бы сказать, что весь послеоктябрьский период большевистской агитации раскладывается на три фазы: «Революционная риторика на протяжении первой стадии характеризуется бесконечным повторением лозунгов, которые, вместе с музыкой, одеждой и другими ритуалами, предназначены для восстановления среди революционеров идентификации, утерянной при отходе от старого режима. Вторая стадия революции, могущая иметь место во время войны или мира, показывает вырождение риторики в персональные инвективы. <...> Третья стадия в революционной риторике обнаруживает доминирующую лексику, направленную против контрреволюции – этот порыв может далеко заходить в тот период, когда от нового режима уже не требуется такой бдительности»⁹. Единственное неудобство, сопряженное с подобными «теориями политической риторики», состоит в их непомерной грандиозности. Если они легко – слишком легко – применимы к большевизму, да, пожалуй, и к самому Сталину «в целом», то зато решительно непригодны для строго текстуального исследования сталинского стиля. (С этой точки зрения мне, признаться, ближе кропотливый учет, допустим, слова *home* в речах какого-нибудь американского президента, отличающий иные работы по политической риторике.) В качестве действительной проблемы я мог бы сослаться на постоянную зависимость Сталина – включая его поздние годы – от ленинского слога, где он нашел навсегда прельстившие его обороты – «кажется, ясно», «невероятно, но факт», «третьего не дано» и т. п. Надо ли уточнять, что речь идет не только о стиле, коль скоро *le style c'est l'homme*? Столь мощное идиоматическое влияние, несомненно, является гарантом более широкой – духовной или ментальной – преемственности¹⁰. Символической заставкой к этой теме, которой тут будет уделено немало страниц, может служить следующий пример. Отрицая внутреннее родство обоих правителей, коммунисты вегетарианского типа всегда победоносно ссылались на знаменитую сталинскую фразу о простых людях – «*винтиках* государственной машины» как на образец бездушно-бюрократического, казарменного социализма, абсолютно несовместимого с гуманным ленинским духом¹¹. Фактически, однако, этот образ взят был именно у Ленина, из антименьшевистской книги которого «Шаг вперед, два шага назад» Сталин назидательно процитировал в своих «Вопросах ленинизма» такое рассуждение:

Русскому нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной «фабрикой». Подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему «закрепощением»... Разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли против превращения людей в колесики и *винтики*¹².

При всем том диктаторов принципиально разделяет само отношение и к собственному, и к чужому слову. Ленину был чужд тот напряженный, вездесущий и хитроумный вербаль-

⁹ Brandes R. *The Rhetoric of Revolt*. New Jersey: Prentice-Hall, 1971. P. 14.

¹⁰ О громадном воздействии Ленина на идеологическое и поведенческое становление Сталина писали очень многие авторы. См., в частности: *Тагер Р.* Сталин у власти: История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 120–127.

¹¹ Ср.: «Представление о партии как об „ордене меченосцев“, низведение простых людей до функции „винтиков“, идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классово-борьбы, – вот, пожалуй, и все явные отклонения Сталина от духа марксизма-ленинизма. По крайней мере, читая о его ревизии научного коммунизма, постоянно сталкиваешься лишь с этими немногими примерами» (*Цинко А.* Истоки сталинизма // *Вождь. Хозяин. Диктатор* / Сост. А. М. Разумихин. М., 1990. С. 433).

¹² Мотив «винтиков» тут маркирован самим Лениным: через несколько страниц он снова глумливо нападает на «невинные декламации о самодержавии и бюрократизме, о слепом повиновении, винтиках и колесиках».

ный фетишизм, который отличал его наследника и во многом содействовал его успеху. Но до того как перейти к показу таких содержательных компонентов сталинщины, как магизм, культ Ленина, русско-революционная или кавказско-фольклорная мифология, православие, язычество и т. п., нам понадобится произвести вводный разбор словаря и основных риторических приемов Сталина. Собственно говоря, в этом и заключается ближайшая задача публикуемой книги, поставленная в ее первой главе. По профессии я литературовед, а не советолог, и занимают меня не столько биографические или политические реалии сталинизма, изучавшиеся такими знатоками предмета, как А. Улам, Р. Такер, Дм. Волкогонов и др., сколько внутренняя организация сталинского текста. Немало отрывочных наблюдений над языком Сталина разбросано у его биографов – но все еще нет ни одного настоящего и целостного исследования, посвященного этому вопросу¹³.

В мои намерения входит дать фронтальный, системный и целостный обзор сталинской стилистики, во всем объеме его – доступных нам – сочинений. Подробной фактологической проверке подверглись при этом некоторые положения, считавшиеся более-менее установленными, – например, вопрос о его языковых и литературных познаниях. По возможности я стремился идти от готовых теорий или предубеждений назад – к фактам, к текстовой эмпирике, к непосредственному генезису и контексту. Я готов безоговорочно принять упрек в позитивистской ограниченности такого подхода – но, по моему твердому убеждению, для понимания реального сталинизма он все же может дать больше, чем те совершенно безличные и голословные концепции, которые превосходно обходятся без всякого конкретного материала и развиваются тем вдохновеннее, чем дальше от него отстоят. В этом смысле предлагаемая работа всецело примыкает к традиции, означенной Андреем Белым в его книге о Гоголе: «Не бесцельны... скромные работы собирателей сырья: в качестве... введения к элементам поэтической грамматики... работа моя... не бесполезна... Все же, что не имеет прямого отношения к... „словарю“, я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы, как окрыляющие процесс работы рабочие гипотезы, легко от нее отделимые и не могущие никого смутить».

В работе использованы главным образом сталинские Сочинения (1946–1951), из которых, как известно, вышло лишь 13 вместо предусмотренных автором 16 томов. Три заключительных тома изданы, однако, в США Гуверовским институтом войны, революции и мира, под редакцией Роберта Мак-Нила (*Stalin I. Works. Vol. 1. [XIV], 1934–1940; Vol. 2 [XV], 1941–1945; Vol. 3 [XVI], 1946–1953 / Ed. by Robert McNeal. Stanford, 1967*) – правда, за вычетом «Краткого курса» (авторство которого в 1956 году дезавуировал Хрушев¹⁴), зато с прибавлением кое-каких посмертных публикаций. Российский читатель, не располагающий этим вспомогательным сводом, может частично заменить его 15-м и 16-м томами сталинских Сочинений, напечатанных так называемым Рабочим университетом: *Сталин И. В. Сочинения. Т. 15:*

¹³ Не представляет тут никакого исключения также работа А. Гетти и О. Наумова о терроре 1930-х годов: *Getty A., Naumov O. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven; London, 1999. P. 15 ff.*

¹⁴ Вместе с тем Сталин настолько скрупулезно отредактировал всю книгу, что полностью несет за нее не только идеологическую, но и литературную ответственность (в ряде случаев – помимо известных разделов 4-й главы – совершенно бесспорно и его непосредственное писательское участие в создании текста). Открыто о его авторстве говорил, например, Л. Мехлис, назвавший книгу «сталинским творением и подарком партии» (Речь на XVIII съезде ВКП(б). М., 1939. С. 10). См. также свидетельство Ем. Ярославского, крайне важное (дано со скидкой на его официальную восторженность) для понимания сталинского отношения к слову: «Ежедневно, по несколько часов подряд, иногда далеко за полночь, буквально строка за строкой просматривался весь „Краткий курс“. Я должен сказать, товарищи, что на протяжении всей своей партийной деятельности я много видел всякого рода редакционных комиссий, но никогда не видел и не встречал еще такого серьезного, требовательного отношения к работе редакционной комиссии, которое проявлял лично товарищ Сталин. Эти 12 вечеров, в течение которых просматривалась каждая глава, у каждого из нас останутся глубоко запечатленными на всю нашу жизнь. Это была забота о том, чтобы не выпустить в свет „Краткий курс“ истории партии хотя бы и с мелкими ошибками и неточностями» (*Ярославский Ем. Идейная сокровищница партии. Цит. по: Язык газеты. Практическое руководство и справочное пособие для газетных работников / Под ред. Н. И. Кондакова. М.; Л., 1941. С. 72*). Сказанное относится, конечно, и к таким поздним сталинским трактатам, как «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР», – авторство Сталина абсолютно бесспорно, хотя написаны они были с чужой помощью. (См.: *Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 2. С. 152–154.*)

1941–1945; Т. 16: 1946–1952 / Сост. и общ. ред. Ричарда Косолапова. М., 1997. Это коммунистическое издание содержит и многочисленные добавочные материалы, почерпнутые из других публикаций (часть которых, заимствованная из книги В. Жухрая «Сталин: Правда и ложь», представляет собой, впрочем, примитивную фальсификацию¹⁵). Прижизненно печатавшиеся сталинские сочинения в моей работе приводятся обычно по этим собраниям без дополнительных указаний (тогда как ленинские писания цитируются по: ПСС: В 55 т. М., 1959–1970; Избранные произведения: В 3 т. М., 1976). Ссылки даны только на посмертно изданные тексты, включая как мак-ниловские (римская нумерация), так и косолаповские тома (арабская нумерация).

Что касается сочинений, представленных в тринадцатитомнике, то в них Сталин произвел значительные купюры: исключались и работы целиком, и отдельные фрагменты вроде панегирика Троцкому в статье к первой годовщине Октября («Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого») или знаменитой реплики в защиту «Бухарчика» («Крови Бухарина требует? Не дадим вам его крови, так и знайте»)¹⁶. Суммарное число ранних (до 1929 года) сталинских публикаций, опущенных в этом издании, по оценке Р. Мак-Нила, могло бы составить один-два тома¹⁷. Но и в каноническом собрании имеется немало отступлений от первоначального варианта. В большинстве случаев, однако, правка носит редакционно-косметический или ритуализованный характер: это в основном малосущественные изменения некоторых формулировок¹⁸, ретроспективное изъятие слова «товарищ» перед именами Троцкого, Зиновьева и вообще почти всех репрессированных и т. п. Я должен подчеркнуть, что с точки зрения изучения сталинского стиля и его «авторского облика» эти подробности никакого значения не имеют, – для поставленной задачи наличного материала более чем достаточно.

Значимо как раз другое – та феноменальная откровенность, с какой Сталин приоткрывает потаенные пружины своих действий, их переменчивый контекст и предысторию, резко расходящуюся, например, с «Кратким курсом». Само собой, множество своих приказов, распоряжений, выступлений и пр. он тщательно засекретил – но, с другой стороны, в Сочинения вошло огромное количество высказываний, за любое из которых их автор, не будь он Сталиным, поплатился бы головой. Среди прочего здесь можно найти комплименты тому же Троцкому, не говоря уже о Бухарине или Зиновьеве и Каменеве; совершенно криминальное – в других устах – упоминание о так называемом завещании Ленина; такие шедевры двуличия, как заверения в прочности нэпа и решительном отказе от раскулачивания, прозвучавшие в самый канун коллективизации; несбывшиеся сталинские пророчества о сроках победы над Германией (в 1941-м, к примеру, он так определил эту дату: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик»). В 4-й том он ввел статью 1918 года, где защищал «оклеветанных чеченцев и ингушей», – книга появилась в 1947 году, т. е. вскоре после памятной всем сталинской депортации этих же народов, ставших «изменниками». В разгар послевоенной конфронтации с Запа-

¹⁵ Вот один из ее примеров. В 15-м томе (с. 16) приведена сталинская беседа с А. С. Яковлевым, датированная 26 марта 1941 года. Публикатору важно опровергнуть представление об антисемитизме Сталина, которому здесь приписывается такая тирада: «Мне докладывали, что гитлеровцы готовят полное физическое истребление еврейского населения как в самой Германии, так и в оккупированных ею странах. С этой целью ими разработан план уничтожения еврейского населения, закодированный под названием „План Ванзее“. Жаль трудолюбивый и талантливый еврейский народ, насчитывающий шеститысячелетнюю историю». Сталин тут в полтора раза удлинил еврейскую историю, однако главное состоит в том, что никакого «плана Ванзее» вообще не существовало – имеется в виду так называемое совещание в Ванзее, на котором разрабатывались меры по депортации европейских евреев в лагерь смерти, но и оно состоялось почти через год после этой профетической беседы – а именно 20 января 1942 года.

¹⁶ См.: *Берлин П.* Сталин под автоцензурой // Социалистический вестник. 1951. № 11 (648).

¹⁷ *McNeal R.* Introduction // *Op. cit.* Vol. 11 (XIV). P. XII–XIII.

¹⁸ О некоторых догматических нюансах этой редакции см.: *Благовещенский Ф.* В гостях у П. Л. Шарии // Минувшее: Политический альманах. М., 1992. Т. 7. С. 486–487.

дом и психопатической антиамериканской пропаганды он из года в год переиздает – в составе книги о ВОВ (потенциального 16-го тома Сочинений) – свои торжественные поздравления вчерашним англо-американским союзникам «с блестящими победами» над общим врагом (эти тексты не решились перепечатать нынешние сталинисты); в 13-м томе (изд. 1951) восхваляет американскую экономическую помощь Советскому Союзу – и там же говорит о горячих советских симпатиях к немцам, что звучало особенно актуально на фоне недавних событий. Интереснее всего, что опубликованные декларации такого рода ни в коем случае не предназначались к использованию. Кто, кроме сумасшедшего, осмелился бы цитировать, предположим, сталинские фразы: «Да что Сталин, Сталин человек маленький»; «Куда мне с Лениным равняться»? Перед нами совершенно уникальный случай, когда корпус сакральных писаний заведомо включает в себя жесточайше табуированные фрагменты. Зачем же, спрашивается, Сталин ввел их в свои Сочинения?¹⁹ Помимо естественного авторского тщеславия здесь был, вероятно, и некий пропагандистско-дидактический расчет, сопряженный с его общей установкой на раздвоение личности²⁰. Сталин как бы отрекался от собственного монолитно-статичного и помпезного официального образа, демонстрируя диалектическую подвижность, сложность, извилистость своего политического пути, скромную самооценку, житейскую и политическую честность, как и человеческое право на ошибки и колебания, – но с тем же успехом его писания должны были служить наглядным пособием по хитроумной и беспринципной тактике большевизма.

Эта и другие многочисленные трудности, возникавшие у меня при изучении сталинских текстов, стимулировали устное обсуждение накопившегося материала. Мне остается выразить признательность тем, кто так или иначе способствовал написанию данной книги своими советами, информативными или критическими замечаниями, а также технической помощью, – Зееву Бар-Селле, Михаилу Генделеву, Евгению Добренко, Леониду Кацису, Виктору Куперману и Дану Шапире.

¹⁹ Этот вопрос озадачивал даже его ближайших соратников. Рассуждая, уже в 1980-х годах, о сталинских ошибках периода Февральской революции (пацифизм и готовность поддержать Временное правительство), Молотов с недоумением заметил: «Его статья напечатана в собрании сочинений, я до сих пор удивляюсь, почему он ее там напечатал» (Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 158).

²⁰ Читатель, интересующийся психоанализом, может обратиться к итоговой книге американского слависта Дэниэля Ранкур-Лаферриера (1988), русское издание которой вышло в Москве в 1996 году: «Психика Сталина. Психоаналитическое исследование». Как многие психоаналитические работы, эта монография наряду с убедительными наблюдениями содержит, однако, и неизбежные курьезы – таковы на с. 210 хотя бы экзотические рассуждения автора о советско-финской войне (Сталин, мол, отказался от полного захвата вражеской страны из уважения к памяти Ленина, воспринимавшегося им в статусе «отца»).

ГЛАВА 1 ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Вот если бы спросили меня, кто лучше всех знает русский язык, я бы ответил – Сталин.

М. Калинин. Беседа с начинающими писателями

Излучающая потоки света речь об итогах Пятилетнего плана, произнесенная Сталиным в начале 1933 года, – настоящий литературный шедевр.

А. Барбюс. Сталин

Литературная эрудиция

О культурном уровне и эстетических предпочтениях Сталина высказываются самые разные мнения, но в общем тут очерчивается достаточно устойчивый консенсус: судя по его отношению к Булгакову, Маяковскому, даже Мандельштаму и другим авторам, он был человеком вполне эрудированным, выдающим порой признаки настоящего литературного чутья. Известно, что он много читал и неустанно следил – преимущественно в буквальном значении слова – за подопечной ему литературой²¹.

Иногда кажется даже, что уничижительные глаголы из знаменитой эпитафии Мандельштама – «Кто питит, кто мяучит, кто хнычет» (ноябрь 1933) – странным образом вольются потом в сталинский жаргон, связанный с памятью об организованном им голоде 1932–1933 годов и о Большом терроре. Через пару лет после Голодомора, в мае уже относительно благополучного 1935 года, выступая на приеме в честь выпускников военных академий, «мужикоборец» обиняками коснулся недавней трагедии. Если бы, заявил он, «миллиарды валюты», выкачанные властью «из недр народного хозяйства», пошли тогда вместо машин на закупку сырья и ширпотреба (о хлебе он умолчал), меньше «народ *скулил*» бы, «люди меньше бы *скулили*» – однако индустриальных достижений бы не было. Правда, из печатного текста словцо было изъято²². В заключительном выступлении на палаческом февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года он восславил «маленького человека», доносчицу Николаенко, которая «*пищала, пищала* во все инстанции», без усталости разоблачая врагов²³ (при публикации «пищала» тоже было опущено). Вскоре, 2 июня, на расширенном заседании Военного совета при наркомате обороны Сталин измывается над смертными муками своих военачальников, зачисленных им в немецкие шпионы: «Я вижу, как они *плачут*, когда их привели в тюрьму»; «И вот эти невольники германского рейхсвера идут теперь в тюрьму и *плачут*». Ярость зато вызывают у него те, кто горюет о других – в данном случае о жертвах коллективизации: «Колхозы. Да какое им дело до колхозов? Видите, им стало жалко крестьян. Вот этому

²¹ См.: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984, passim; Волжогонов Дм. Указ. соч. Кн. 1. Ч. 1. С. 231–232; Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М., 1990; Бабиченко Д. Л. И. Сталин: «Доберемся до всех» (Как готовили послевоенную идеологическую кампанию. 1943–1946 гг.) // Исключить всякие упоминания... Очерк истории советской цензуры / Сост. Т. М. Горячева. Минск, 1995; Максименков Л. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936–1938; Радзинский Э. Сталин. М., 1997. С. 330–331; «Счастье литературы». Государство и писатель. 1925–1938. М., 1997; Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998.

²² Невежин В. А. Застольные речи Сталина. С. 79 (неправленая стенограмма). Сталин предпочел убрать «подобные формулировки», ибо, как туманно замечает публикатор Невежин, «была вероятность неверного истолкования».

²³ Сталин И. Соч. Т. 14. М., 1997. С. 202–203 (Стенографический отчет. В газетной публикации текст был приглагожен).

мерзавцу Енукидзе <...> Но так как он мог прикидываться простачком и *заплакать*, этот верзила, то ему поверили»²⁴.

Скорее всего, Мандельштам уловил самую суть сталинщины, накопленную в этом ее застеночном лексиконе. Не исключена, впрочем, и вероятность того, что стихотворение было как-то утилизировано цепкой памятью Сталина.

Если его осведомленность в советской литературе, вообще говоря, сомнений не вызывает, то в классической традиции он ориентируется очень слабо, а его редкие ссылки на дореволюционных писателей отдают казусным провинциализмом. При его необъятной памяти и любви к чтению это невежество выглядит даже как-то странно. «Его обращение к классике было очень редким, – пишет Волкогонов, – что отражало и весьма ограниченное знакомство генсека с шедеврами мировой и отечественной литературы»²⁵. Высмеяв представление о Сталине как «корифее всех наук» и новаторе марксизма, А. Авторханов заметил: «Невероятно ограниченным был духовный багаж Сталина и в области русской литературы. В его литературных выступлениях ни разу не встречаются герои и примеры из гуманистической классической литературы (Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Толстой, даже Горький), но зато он неплохо знал классиков-,разоблачителей“ (Гоголь, Щедрина)»²⁶. Оно и понятно: леворадикальная публицистика кишела ссылками на этих «разоблачителей». В поздние годы, по свидетельству Светланы Аллилуевой, «он часто перечитывал Гоголя и раннего Чехова; вдвоем со Ждановым они иногда брали с полки Салтыкова-Щедрина, чтобы процитировать нечто из „Истории города Глупова“»; «Отец, – добавляет она, – не любил поэтического и глубоко-мифологического искусства. Я никогда не видела, чтобы он читал стихи, – ничего, кроме поэмы Руставели „Витязь в тигровой шкуре“, о переводах которой он считал себя вправе судить. Не видела на его столе Толстого или Тургенева»²⁷. Не меняет дела и эмоционально-эссеистическое исследование Б. Илизарова²⁸, изучившего пометы на книгах из некогда огромной библиотеки Сталина (вернее, из числа тех, что не успели растащить его преемники или челядь). Таких маркированных томов набралось почти четыреста, однако преобладают среди них марксистские, исторические и политические труды, в первую очередь сочинения Ленина²⁹.

Из старых русских поэтов Сталин, как все тогдашние публицисты, предпочитает Крылова³⁰, но цитаты приводит анонимно, будто из вторых рук, и походя перевирая текст: «Недаром говорят: „Беда, коль пироги начнет *печь* сапожник!..“» (вместо «*печи*»). Мертвая глухота к элементарному благозвучию плохо вяжется с образом молодого Сталина-поэта, пусть и грузинского, и с позднейшими легендами о чуткости к поэтическому слову. (В юности он действительно был стихотворцем, достаточно бездарным, чтобы войти в хрестоматию.) Что касается странной анонимности («говорят»), то она глубоко симптоматична: Крылова он, без сомнения, читал. Вернее будет сказать, что уже на этой самой ранней стадии его публицистики мы сталкиваемся с постоянной чертой сталинского стиля – инстинктивной конспиративностью, с методом темного намека, намеренной деперсонализацией объекта, предшествующей его прямому называнию. Любил он ссылаться и на другие, столь же обезличенные, крыловские тексты, чаще прочих – на басню «Пустынник и Медведь».

Никакого влечения к Пушкину, о котором иногда вспоминали верноподданные, я у Сталина не обнаружил – кроме того случая, когда он склеил Крылова со школьной «Полтавой»:

²⁴ Там же. С. 221–222.

²⁵ Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. 1. Ч. 1. С. 233.

²⁶ Авторханов А. Технология власти. Frankfurt/M., 1976. С. 552.

²⁷ Аллилуева С. Только один год. New York; Evanston, 1969. С. 337.

²⁸ Илизаров Б. С. Тайная жизнь Сталина. По материалам его библиотеки и архива. 7-е изд. М.: Вече, 2019.

²⁹ См.: Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. С. 138–139.

³⁰ О широчайшей популярности крыловских (как и гоголевских) образов в революционную эпоху см. хотя бы: *Наживин И.* Записки о революции. Вена, 1921. С. 79–82.

«Наивные люди! Революционера Камкова, кадета Авсентьева и „распльвчатого“ Чернова они, после ряда неудач, хотят еще раз впрячь в одну телегу!» (контаминация басни «Лебедь, Щука и Рак» с пушкинским стихом «В одну телегу впрячь не можно...»). Не знаю, как это звучало в сталинском оригинале, – ведь приведенную цитату, подобно предыдущей, Сочинения дают в обратном переводе, – но за его редакцию отвечал, безусловно, сам автор. По-грузински – и снова анонимно – цитирует он стихи из горьковского «Буревестника», также включив их в свои Сочинения в перевернутом виде: «Пусть сильнее грянет гром, пусть сильнее разразится буря!» (Вместе с тем творчество Горького – которого Авторханов причислил к классикам – он знал хорошо и, по свидетельству М. Джиласа, выше всего ставил дореволюционные рассказы, «Фому Гордеева» и «Городок Окуров»³¹, что само по себе интересно, так как эта вещь исполнена в мрачно-сологубовской манере.)

Однажды в полемике с меньшевиками он сравнил их с гоголевским героем, возмнившим себя «королем Испании». Но по большей части ссылки на Гоголя тоже безличны и черпаются из обычного газетного шлама: «Как говорится, унтер-офицерская вдова сама себя высекла». Другие мотивы и образы «Ревизора» фигурируют в неряшливом и противостественном сочетании с абстрактной мировой классикой, воспринятой понаслышке, вроде мелькающих у него Дон Кихотов с вечными ветряными мельницами: «эсеровские Гамлеты» «бегают петушком» – как Добчинский – вокруг Керенского (так, по Ленину, оппортунисты «петушком, петушком бегут» за русской интеллигенцией); есть и Ляпкины-Тяпкины из эсеровской газеты, и хозяйственный Осип, припасающий веревочку. Все эти гамлеты и дон кихоты – стертые газетно-публицистические фантомы, не состоящие ни в каком родстве со своими литературными тезками. Довольно редки отсылки к «Мертвым душам» – в крохотном диапазоне от стабильной «маниловщины» или «дамы приятной во всех отношениях» до любившегося Сталину за политическую грамотность Селифана, который журит крепостную девочку Пелагею: «Эх ты, черноногая. Не знает, где право, где лево!» За эти скромные пределы гоголеведческая эрудиция Сталина обычно не простирается, а когда он решается их преступить, то покушение кончается конфузом. Поддавшись соблазну литературного соперничества с Троцким, он обвинил последнего в том, что тот «хитроумно приставляет нос Ивана Ивановича XIX столетия к подбородку Ивана Никифоровича XX столетия». Сталин тут перепутал повесть о двух Иванах с «Женитьбой», где к носу приставляются все же губы, а не подбородок, – правда, с анатомией он всегда обходился так же творчески, как порой с литературными цитатами.

И все же он явно вспомнил о Гоголе – причем вовсе не о сатире, а о его казацком эпосе – спустя много лет, на совещании с кинематографистами распекая несчастного А. Авдеевского за сценарий фильма «Закон жизни». Генсек обвинил его тогда среди прочего в примитивизме и, довольно неожиданно, в неумении дать объективную рисовку характеров. Как на образчик односторонней манеры письма он сослался именно на классиков – Гоголя, Шекспира и Грибоедова, концентрировавших все отрицательные черты «в одном лице», отдав взамен предпочтение чеховскому объективизму. Сталин сказал тогда: «У самого последнего подлеца есть человеческие черты, он кого-то любит, кого-то уважает, ради чего-то хочет жертвовать», – а в качестве примера назвал таких «сильных врагов», как Бухарин и Троцкий, надежных, помимо отрицательных, и «положительными чертами».

Нетрудно, конечно, представить себе судьбу писателя, который решился бы последовать сталинскому совету. Знаменателен зато ближайший исторический подтекст этого рассужде-

³¹ Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992. С. 113. Зато как раз горьковские стихи, наподобие «Песни о Соколе», Сталин терпеть не мог. Подробнее об их взаимоотношениях см., в частности: Флейшман Л. Указ. соч. С. 239 и след.; Громов Е. Указ. соч. С. 90–99; Никё М. К вопросу о смерти Горького // Минувшее. Т. 5. СПб., 1991; Иванов Вяч. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы литературы. 1993. № 1; Переписка М. Горького и И. В. Сталина (1934–1936) / Публ. и коммент. Т. Дубинской-Джалиловой, А. Чернева // Новое литературное обозрение. 1999. № 40.

ния и его конкретный источник. Вопреки упреку, брошенному им в адрес Гоголя, Сталин дал тут цитату из неупомянутого им вслух «Тараса Бульбы», точнее из проникновенной речи героя – воителя против ляхов: «Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь изваляется он в саже и в поклонничестве [перед поляками], *есть и у такого, братицы, крупица русского чувства*».

Состоялось это совещание 9 сентября 1940-го – ровно через год после сталинского вторжения в Польшу для «освобождения западных украинцев и белорусов» – и через полгода после Катынского и прочих расстрелов; шли повальные аресты и депортации *освобожденного* населения, в первую очередь именно поляков. Только что, летом, были аннексированы целые страны. Хотя ранее была, в сущности, проиграна финская война, готовился все же грандиозный поход на Запад. 1 августа 1940-го, т. е. за месяц до встречи с кинематографистами, Молотов уже процитировал на сессии ВС слова Сталина о том, что «нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом военного нападения» – вероятно, нападения примерно такого же свойства, как то, что было инсценировано в Майниле. Об этом важно помнить, читая сталинские наставления кинематографистам.

Безотносительно к литературе вождь коснулся затем военно-политических актуальностей, подав их в радужном освещении: «Ведь счастливыми себя считают литовцы, западные белорусы, бессарабцы, которых мы избавили от гнета помещиков, капиталистов, полицейских и всякой другой сволочи <...> С точки зрения борьбы сил в мировом масштабе между социализмом и капитализмом это большой плюс, потому что *мы расширяем фронт социализма и сокращаем фронт капитализма*»³².

Можно строить лишь те или иные предположения по поводу трудноуловимой связи между двумя этими аспектами сталинского выступления – литературным и милитаристским. Как мне представляется, его карательная политика на оккупированных землях к тому времени – и в видах на будущее – еще не полностью определилась, в ней пока допустимы были кое-какие колебания (например, по отношению к тамошнему русскому населению, которое можно было частично утилизировать для русификации чужих территорий) – и, вероятно, эта неопределенность как-то просквозила в поучениях насчет «последнего подлеца», сохранившего остатки благих чувств. Но и без того обращение вождя к неистово антипольскому и националистическому произведению классика в тот период само по себе чрезвычайно симптоматично – как и те потенциальные аспекты гоголевской тирады (выпады против «поклонничества» перед врагом), которые уже за пару лет до того Сталин заготовил для своей пропаганды и которым суждена будет потом долгая жизнь. Действительно, еще 23 марта 1938 года, приветствуя в Кремле папанинцев, он, согласно записи А. Хатунцева, поднял тост «за то, чтобы мы, советские люди, не пресмыкались перед западниками, перед французами, перед англичанами и не заискивали перед ними!»³³. (Кстати, тот факт, что немцы не были включены им в число «западников», указывает, мне кажется, на антилитвиновскую подоплеку этих гневных заявлений, прозвучавших всего через десять дней после гитлеровского аншлюса³⁴.)

Можно найти у Сталина и цитату из (неупомянутого) А. Островского, которого он когда-то проходил в семинарии³⁵: «Кто тебя, Тит Титыч, обидит? Ты сам всякого обидишь». Единичны среди приводимых им авторов Кольцов, опять-таки не названный по имени (отрывок

³² Сталин И. Соч. С. 200, 202.

³³ Невежин В. А. Застольные речи Сталина. С. 191.

³⁴ В начале 1938 года иностранные дипломаты, по сообщению германского посольства в Москве, выражали беспокойство «по поводу возможности советско-германского сближения», а к осени после Мюнхенского соглашения позиции Литвинова ослабели. – Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед войной: отношения вождей и каналы связей. СПбГУ, 2010. С. 99. Впрочем, они слабели еще раньше, на протяжении долголетнего сталинского флирта с немцами (по линии НКВД, а не НКВД), который неизбежно подрывал статус Литвинова – сторонника сближения с Англией и Францией. – Там же. С. 93 и след.

³⁵ О семинарском курсе русской словесности в Тифлисе см.: Громов Е. Указ. соч. С. 21.

из «Леса»), и столь же анонимный Некрасов, которого он процитировал в речи «О задачах хозяйственников»: «Помните слова дореволюционного поэта: „Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь“». Самого Некрасова открывать для этого не требовалось – те же точно стихи (впрочем, давно облюбованные народниками) поставлены эпиграфом к посвященной Брестскому миру ленинской статье «Главная задача наших дней». Ленин здесь осуждает тех, «у кого кружится голова» (ср. сталинское «Головокружение от успехов»), а затем возвращается к некрасовским эпитетам, говоря о непреклонной решимости большевиков «добиться того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной». По близкой, хотя несколько оглушенной, модели действует Сталин, призывая покончить с национальной отсталостью, радующей врагов России, которым он непринужденно приписывает знакомство с Некрасовым: «Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: „Ты и убогая, бессильная – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно <...>“. Вот почему нам нельзя больше отставать». Словом, некрасовский оригинал здесь явно не понадобился, чем и подтверждается свидетельство Светланы Аллилуевой о равнодушии ее отца к поэзии.

В 1917 году у него внезапно выскакивает драматургический Чехов: « – В Москву, в Москву! – шепчутся „спасители страны“, удирая из Петербурга». «Собственно, именно Чехов являлся любимым автором Сталина, – утверждает Громов. – Его он будет читать всю жизнь»³⁶. Трудно сказать, на чем основано это категорическое заявление, – разве что на свидетельстве Анны Аллилуевой, подтверждающей его симпатию преимущественно к раннему, юмористическому – то бишь «разоблачительному» – Чехову: «„Хамелеон“, „Унтер Пришибеев“ и другие рассказы Чехова он очень любил. Он читал, подчеркивая неповторимо смешные реплики действующих лиц „Хамелеона“». Кроме того, «очень любил и почти наизусть знал он чеховскую „Душечку“»³⁷; в ссылке он пересказывал и «Лошадиную фамилию»³⁸. В 1930 году в «Заключительном слове» на XVI съезде Сталин обратился к рассказу «Человек в футляре» – задолго до того, как на упомянутой встрече с кинематографистами и с Авдеенко одобрительно отозвался об общей «манере Чехова»³⁹.

До революции почитывал он и народнического Глеба Успенского⁴⁰ да еще некоторых модных авторов вроде Арцыбашева («низменного») и Пшибышевского, которого, как и Мережковского и прочих «декадентов», в своих оценках «не щадил». Есть и сведения о его интересе к Достоевскому, идущие, в частности, от С. Аллилуевой: «О Достоевском он сказал мне как-то, что это был „великий психолог“. К сожалению, я не спросила, что именно он имел в виду – глубокий социальный психологизм „Бесов“ или анализ поведения в „Преступлении и наказании“?»⁴¹ Б. Илизаров проштудировал его графические выделения на полях «Братьев Карамазовых» и толстовского «Воскресения»⁴², однако, на мой взгляд, они не свидетельствуют о какой-либо глубине интересов. Так, «Воскресение» Сталин весьма не одобрил (троекратное, в разных местах, «Ха-ха-ха»), а из его многочисленных отчеркиваний или подчеркиваний трудно сделать сколь-нибудь внятное заключение – они не выходят из обычного круга пассивно-читательских реакций. С другой стороны, его редкие и по большей части глумливые реплики: «Ха!», «Хе!», «Так его!» и пр. свидетельствуют прежде всего о непроходимой пошло-

³⁶ Громов Е. Указ. соч. С. 27.

³⁷ Аллилуева А. Воспоминания. М., 1940. С. 190.

³⁸ Илизаров Б. С. Указ. соч. С. 265.

³⁹ См. также: Латышев А. Сталин и кино // Суровая драма народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989. С. 501.

⁴⁰ См. его письмо Р. Малиновскому от 10 апреля 1914 года: Большевицкое руководство. Переписка 1912–1927. М., 1996. С. 20.

⁴¹ Аллилуева С. Только один год. С. 337. Ср. также свидетельства Джиласа: Указ. соч. С. 82, 112–113.

⁴² Илизаров Б. С. Указ. соч. С. 334 и сл.

сти и даже о туповатости, оскорбительной для каждого, кто верит в совместимость злодейства с гением. Его развернутые суждения о Достоевском, приведенные Д. Шепиловым в изложении А. Жданова⁴³ – и тоже процитированные Илизаровым, – не поднимаются над советско-мещанским уровнем (непревзойденный психолог и мастер языка – но ярый реакционер, дурно влияющий на молодежь).

Этим, собственно, исчерпывается документально зафиксированное знакомство *корифея* с русской дореволюционной литературой. С западной, как подчеркивал Волкогон, обстояло еще хуже. Правда, в 1896 году во время учебы в семинарии, когда он баловался недозволенным чтением, инспектор нашел у него две книги Гюго – «93-й год» и «Труженики моря» (а позже и трактат Летурно «Литературное развитие народных рас»)⁴⁴. Историю западноевропейской литературы Сталин усваивал, кажется, по одноименному трактату бездарнейшего марксиста П. Когана⁴⁵. Уже в 1920-е годы он увлекся инфантильным Брет Гартом, которого рекомендовал советским золотоискателям⁴⁶. В тот же период всплывает у него Гейне – не как поэт, а как язвительный спорщик, удачно состривший по поводу Ауффенберга⁴⁷. Важнее были, видимо, театральные впечатления, подсказавшие ему очередной выпад против Троцкого, – Сталин приписал ему стремление подражать «ибсеновскому герою саги старинной». В другой раз он сопоставил свое отношение к оппозиции с отношением Альфонса Доде к знаменитому вралю Тартарену из Тараскона – в изображении Сталина последний хвастался тем, будто в горах Атласа «охотился на львов и *тигров*». Но тут вождь перещеголял самого Тартарена, знавшего хотя бы, что в Африке тигры не водятся (кстати, упоминал этого героя и Ленин). Кроме того, он трижды (1912, 1917, 1924) цитировал стихи «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил» – и напоследок, в четвертый раз, сославшись на них в письме Демьяну Бедному (1926), назвал автора – Уитмена, которого похвалил за чисто большевистскую жизнерадостность. Compliment пришелся не по адресу: стихотворение сочинил народник В. Богораз-Тан, из цензурных или каких-то других соображений приписавший его знаменитому американцу⁴⁸. Однажды, в беседе с А. Громыко, вождь «очень хвалил» Мопассана⁴⁹; знал он, кажется, и Бальзака. Не брезговал он и бульварщиной вроде В. Крыжановской (Рочестер). Отец рассказывал мне, что знакомый ленинградский библиофил показывал ему в конце 1960-х книжку со штампом сталинской библиотеки – «Раввин и проститутка»; автора я, к сожалению, не запомнил.

Редкие перлы общекультурной эрудиции, мерцающие в этой его публицистической куче⁵⁰, – некоторые исторические экскурсы, упоминание о Менении Агриппе или пересказ мифа об Антее, украсивший концовку «Краткого курса». Вообще говоря, историей Сталин как раз интересовался, но и по этой части допускал ляпы – чего стоит его известное высказывание о «революции рабов»? Владение платоновской философией ограничено у него хрестоматийным сократовским присловьем «Клянусь собакой», которое он перенял в своих дружеских дореволюционных письмах Каменеву и Малиновскому⁵¹, – других сократических познаний

⁴³ Шепилов Д. Непримкнувший. М., 2001. С. 93–94.

⁴⁴ Каминский В., Верецагин И. Детство и юность вождя // Молодая гвардия. 1939. № 12. С. 71. Там же (с. 69) указано, что Сталин прочел еще в семинарии Гоголя («Мертвые души») и «Ярмарку тщеславия» Теккерея.

⁴⁵ Громов Е. Указ. соч. С. 32–33.

⁴⁶ Такер Р. Сталин у власти: История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 155.

⁴⁷ Скорее всего, ссылка на эту шутку Гейне тоже была одним из тогдашних полемических шаблонов – так, задолго до революции ее использовал Валентинов в споре с Плехановым. См.: Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1953. С. 250.

⁴⁸ См. комментарий А. Дымшица: Революционная поэзия (1890–1917). 2-е изд. Л., 1954. С. 600–601.

⁴⁹ Громов Е. Указ. соч. С. 40–42, 237.

⁵⁰ Любопытно при этом, что он очень дорожил всеми крохами своей литературной образованности. А Ильин-Женевский вспоминает, как Сталин был раздражен, когда из его статьи выбросили какую-то литературную цитату. – От Февраля к захвату власти // Сб. От первого лица. М., 1992. С. 387.

⁵¹ См.: Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. М., 1996. С. 16, 19.

я у Сталина не обнаружил (зато, как мы позже увидим, он кое-что усвоил из семинарского Аристотеля). Интереснее его реакция на поздние «Диалоги» Анатоля Франса, где он одобрительно отслеживал скептически-антихристианские реплики автора, выполненные по большей части в банально-просветительском ключе с легкой примесью адаптированной гностической традиции. Сталин оставил безнадежно убогие пометки на страницах – все те же «Ха-ха!» и чуть более развернутые: «Ха!! Вот и разберись!..»; «Так его!!!»; «Куды ж податься!»; «Греки хорошо устроились!» – это по поводу их многобожия – и «Хорошо!», по поводу солярного культа, которому отдал бы предпочтение Наполеон. Внимание его привлекли и юдофобско-маркионитские выпады, тоже привлеченные Франсом (вслед за его собственными романами) к обсуждению темы. «Анатоль порядочный антисемит»⁵², – решил он, так как вообще любил отыскивать эту свою черту у других. Экспертом в области мировой культуры Сталин мог выглядеть лишь на фоне полуграмотных Шкирятовых или своих преемников вроде Хрущева и Брежнева: ведь немногих действительно образованных большевиков он истребил – вместе с прочими – почти полностью. Для оставшихся он вполне сходил за корифея.

Что же до его лингвистической оснащенности, которую до сих пор отважно превозносят некоторые сталинисты, то о ней свидетельствуют и курьезы с перечнем языков в «Марксизме и вопросах языкознания», и обиходные высказывания вроде такого: «Пересмотр по-немецки означает ревизию». Увы, с русским языком у знаменитого лингвиста тоже складывались весьма конфликтные отношения – вопреки убеждению всесоюзного старосты. Признаться, мне не хотелось осквернять жемчужное сияние сталинских нелепиц сколь-нибудь массивным комментарием – я довольствуюсь легкой оправой сопроводительных замечаний.

⁵² Илизаров Б. Указ. соч. С. 55–59.

Отступление головоотяпов на ленинские позиции, или Победа марксизма над языкознанием

Как любой иноземец, Сталин использует слова, порой не понимая их точного смысла: «Они забыли, что нас ковал великий Ленин <...> что чем сильнее беснуются враги <...> тем больше *накаляются* большевики для новой борьбы». Занимательнее, пожалуй, выглядит такая ошибка: «Группа Бухарина <...> *бросает палки* в колеса» – он спутал эту сексуальную идиому («кинуть палку») с другой: «совать палки в колеса». Понравилось ему, скажем, красивое, звучное слово «огульный» – и мы читаем:

Плавный, огульный подъем вверх.

Огульный наплыв в партию, —

а партию эту он называет «сколоченной из стали».

Но еще больше в сталинских сочинениях ошарашивают раскулачивание метафор, необоснованные массовые репрессии против строя и духа русской речи⁵³. Об этом давно следовало бы сказать во всеуслышание – или, как по иному поводу заявил в молодости сам Сталин на своем горско-марксистском жаргоне,

Сказать громко и резко (фактически сказать, а не на словах только!..).

Излишней экзотикой отдает, например, постоянный у него мотив «борьбы», доставляющей Сталину немало радости, особенно когда он ведет ее бок о бок с верными соратниками; он так и говорит: «Дружная борьба с врагами». У последней имеются свои интригующие особенности, для описания которых русский язык, очевидно, не слишком пригоден:

Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств.

Эта палка о двух протянутых концах вызывает у Сталина довольно колоритные ассоциации воинственно-эротического свойства:

Революция <...> всегда одним концом удовлетворяет трудящиеся массы, другим концом бьет тайных и явных врагов этих масс.

Впрочем, его сексуальной фантазии свойственно облекаться и в формы экономического сотрудничества с буржуазным миром:

Наша политика тут ясна. Она базируется на формуле: «*даешь – даю*». Даешь кредиты для *оплодотворения* нашей промышленности – получаешь <...>
> Не даешь – не получаешь.

Лично мне больше всего нравится фраза «отступление головоотяпов на ленинские позиции», взятая в качестве названия этой главки, но с ней могут соперничать многие другие речения – хотя бы связанные с аграрным вопросом:

⁵³ В частности, Сталину свойственно – типичное для чужака-инородца – смешение падежей: «немецкие захватчики <...> распяли на крест поляков, чехов, сербов»; «похоронить в гроб дело социализма в СССР». Есть и просто безграмотные обороты: «на базе бабской части», «в угоду и к выгоде наших врагов»; «в приезде, я думаю, не требуется»; «критика системы друг друга» и пр. Иногда в его грамматику вторгаются грузинские конструкции – например, в письме Кагановичу: «Надо уничтожить карточную систему по хлебу (может быть, и по *крупам и макарону*)...» (цит. по: *Хлевнюк О. В.* Политбюро: Механизм политической власти в 1930-е годы. М., 1996. С. 126). По устному замечанию З. Бар-Селлы, фраза свидетельствует, что грузин Сталин слабо различает твердые и мягкие согласные и потому отождествляет макароны с *макарони*: поскольку в грузинском языке окончание -и обозначает единственное число имен существительных, он так же воспринимает и, соответственно, склоняет русское слово.

Что это [национализация земли] – облегчает крестьян или не облегчает?
Ясно, что облегчает⁵⁴.

Облюбованная им система риторических вопросов, тяготеющая к несколько шизофреническому внутреннему диалогу, в сочетании с установкой на элементарную ясность и доступность слога сама по себе провоцирует не предусмотренные автором комические эффекты. Иногда его медитации напоминают размышления столяра Джузеппе над таинственным поленом из «Буратино»:

Была ли это размычка? Нет, это не было размычкой. Может быть, это была пустяковина какая-нибудь? Нет, это не было пустяковиной.

Гораздо чаще Сталин звучит как персонаж Зощенко (об этом стилистическом сходстве см. ниже)⁵⁵:

Избиратели-приказчики! Не голосуйте за кадетов, пренебрегших интересами вашего отдыха.

Раньше, бывало, на ногу наступишь – и ничего. А теперь это не пройдет, товарищи!

Все это, кстати, ничуть не мешало ему считать себя экспертом по части русского литературного стиля. Светлана Аллилуева вспоминает, как Сталин отреагировал на ее любовную переписку с А. Каплером: «Отец рвал и бросал в корзину мои письма и фотографии. „Писатель! – бормотал он. – Не умеет толком писать по-русски! Уж не могла себе русского найти!“»⁵⁶

Бывает, что, при всей своей осторожности, он нечаянно проговаривается. В его речи, произнесенной в Кремле 29 октября 1937 года перед рабочими и руководителями металлургической и угольной промышленности, прозвучала «фрейдистская обмолвка». Поднимая тост «за здоровье средних и малых хозяйственных руководителей», Сталин добавил: «Вообще о руководителях нужно сказать, что они, к сожалению, не всегда понимают, на какую *вышку* подняла их история в условиях советского строя». В 1937 году слово «вышка» звучало особенно выразительно: не то расстрел, не то пост лагерной охраны. В черновой же записи этого краткого выступления оно встречается целых семь раз⁵⁷.

Обобщая эти замечания, стоит уточнить, что дело было не только в происхождении самого Сталина, но и в специфическом русскоязычном окружении, навязывавшем ему свои вкусы. Почти все большевистские лидеры вышли из захолустно-мещанской среды, наложившей корявый отпечаток на их литературную продукцию. Сюда необходимо прибавить дикость тогдашней революционной публицистики в целом. Хваленый слог Троцкого, например, часто поражает сочетанием провинциального кокетства и генеральского рывканья⁵⁸. А вот как изъ-

⁵⁴ Вот еще несколько красочных примеров: «Победа никогда не приходит сама – ее обычно притаскивают»; «Вопли отпали, а факты остались»; «Троцкий не дает никакого просвета». Не менее колоритны его медицинские раздумья: «Для чего вызван к жизни нынешний корниловский выкидыш?» – или замечания о меньшевистских шеголях: «Такова уж участь меньшевиков: <...> не последний раз пытаются они шегольнуть в старых большевистских штанах». Таким перечнем можно было бы заполнить целые страницы.

⁵⁵ Эта параллель развита в остроумной статье Л. Баткина «Сон разума. О социокультурных масштабах личности Сталина» // Осмыслить культ Сталина. С. 23–24, 33–34. Там же (с. 38–40) дана блестящая пародия на сталинский стиль. Ср., кроме того, в книгах Б. Сарнова о Зощенко, а также в моей статье: «Один прекрасный грузин»: Сталин как персонаж Зощенко: Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. Работы 1978–2003 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 525–532.

⁵⁶ Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М., 1990. С. 170. Ср. его нападки на А. Авдеенко: «Культуры у него мало, человек малограмотный, русским языком не владеет, а сколько у него нахальства литературного! Прямо диву даешься, когда читаешь!» (цит. по: Громов Е. Указ. соч. С. 256).

⁵⁷ См.: Невежин В. А. Застольные речи Сталина. С. 129–133. В своем комментарии (с. 114–115) Невежин, приводя мое наблюдение, фактически подтверждает его ссылкой на само содержание этой речи, в которой генсек упоминал о потенциальных «врагах народа» из числа собравшихся.

⁵⁸ В свое время Алданов дал очень емкий портрет этого литератора: «От Троцкого останется десять тысяч восклица-

яснялся прародитель русской социал-демократии Плеханов в своих «Письмах без адреса»: «Когда собака опрокидывается перед хозяином брюхом вверх, то ее поза, составляющая все, что только можно выдумать противоположного всякой тени сопротивления, служит выражением полнейшей покорности. Тут сразу бросается в глаза действие начала антитеза»⁵⁹. Да мало ли ахины хотя бы у Ленина? Тут и «утробный зародыш», и фраза «не расположен идти ползком на брюхе», и «Каутский цитирует полностью частицу», – и такие мудрые сентенции: «Во всякой сказке есть элементы действительности: если бы вы детям преподнесли сказку, где петух и кошка не разговаривают на человеческом языке, они не стали бы ею интересоваться». Есть у Ильича и высокохудожественная реплика, навеянная тем, что капиталисты обзывают большевиков «крокодилами»: «Если ты – всемирная, могущественная сила, всемирный капитал, если ты говоришь: „крокодил“, а у тебя вся техника в руках, – то попробуй, застрели. А когда он попробовал, то вышло, что ему же от этого больнее». Таков же и Бухарин – «любимец партии», специфически покладистая стилистика которого могла бы воодушевить начинающего фрейдиста:

Мне самому товарищи неоднократно вставляли соответствующие места,
и я с этим соглашался⁶⁰.

Так ли уж сильно наш автор уступает всем этим мастерам слова?

С другой стороны, некоторые риторические приемы Сталина производят порой ошущенное впечатление на его чуть более цивилизованных оппонентов. В 1912-м и затем, более развернуто, в конце 1913 года он вводит в обращение образ Троцкого как фальшивого циркового атлета: «Несмотря на „геройские“ усилия Троцкого и его „ужасные угрозы“, он оказался, в конце концов, просто шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами». Троцкому, очевидно, запомнилось сравнение, и, слегка его изменив, он направил выпад по другому адресу: «Маяковский атлетствует на арене слова и иногда делает поистине чудеса, но сплошь и рядом с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири»⁶¹.

Итак, кроме нелепиц в языке Сталина имелось и нечто другое, что заставляло к нему прислушиваться. Мы не раз встретимся со смысловыми и стилистическими курьезами в его писаниях, но ничего не поймет в Сталине тот, кто не увидит противоположной стороны дела. В дни судьбоносных исторических поворотов – и прежде всего во время войны – этот монотонный, малообразованный и даже не слишком грамотный автор, подвизавшийся на чужом языковом материале, действительно умел создавать неотразимые лозунги, выверенная лапидарность которых неимоверно усиливала их давление. Подлинная загадка заключается в том, что «писатель Сталин» немислим без обоих этих качеств: магической убедительности и смехотворного, гунявого словоблудия.

ний, – все больше **образные**. После покушения Доры Каплан он воскликнул: „Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл!“ Где-то на Волге, в Казани или в Саратове, он в порыве энтузиазма прокричал „глухим голосом“: „Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце!“ Галерка ревела от восторга <...> Троцкий вдобавок „блестящий писатель“ – по твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой <...> Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла: и „что сей сон означает?“, и „унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекала“, и „тенденция, проходящая красной нитью“, и „победить или умереть!“. Клише большевицкой типографии он умеет разнообразить стопудовой иронией: „В тех горних сферах, где ведутся приходно-расходные книги божественного промысла, решено было в известный момент перевести Николая на ответственный пост отставной козы барабанщика, а бразды правления вручить Родзянке, Милюкову и Керенскому“» (Алдамов М. А. Современники. 2-е изд. Berlin, 1932. С. 133–134).

⁵⁹ Плеханов Г. В. Избр. философские произведения: В 5 т. М., 1958. Т. V. С. 297.

⁶⁰ Цит. по: Роговин В. Сталинский неонэп. М., 1995 (1994?). С. 275.

⁶¹ Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 120. Дальнейшую судьбу этой метафоры Троцкого проследил Л. Флейшман, связавший ее с мандельштамовским выпадом против Безыменского: «силач, подымающий картонные гири» (Эпизод с Безыменским в «Путешествии в Армению» // Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. III. С. 193–197). Ронен, в свою очередь, противопоставил эти «картонные гири эпигона» «верным гилям» из мандельштамовского стихотворения о Сталине: Ронен О. «Инженеры человеческих душ»: К истории изречения // Лотмановский сборник, 2. М., 1997. С. 398. Как сказал бы Сталин, «вот какая цепочка получилась, товарищи». Пора напомнить о ее начальном звене.

Щупальца статного орла: сталинский бестиарий

Если Троцкого Сталин изначально не жалует, то зато фигура Ленина очень рано пробуждает у него комплиментарные, хотя порой казусные ассоциации, – включая сюда поговорку, неправильное употребление которой мельком отметил тот же Троцкий: «В плане блока видна рука Ленина – он мужик умный и знает, где раки зимуют». Но о зоологических аналогиях Сталина приходится говорить отдельно, поскольку в небогатом наборе его метафоры животного мира занимает видное место.

О первом своем, еще только эпистолярном знакомстве с Лениным Сталин рассказывает так:

«Это простое и смелое [ленинское] письмецо еще более укрепило меня в том, что *мы имеем в лице Ленина горного орла* нашей партии <...>. Ленин рисовался в моем воображении в виде *великана, статного и представительного*». Затем, продолжает Сталин, во время личного контакта его подкупили другие свойства вождя: «Логика в речах Ленина – это какие-то всеисильные *щупальцы*, которые охватывают тебя со всех сторон *клещами*»⁶².

Чудесный гибрид горного орла, представительного великана, осьминога и кузнеца (если не рака: он вполне мог спутать клешни с клещами), запечатленный «в лице» Ленина, вовсе не уникален у бывшего поэта. Как мы далее убедимся, его вообще привлекают хтонические образы, но они распределяются у него по контрастным идеологическим полюсам. В тот же хтонический ряд вовлекаются враждебные силы, и тогда под пером Сталина рождаются сложные контрреволюционные химеры, противостоящие «недовольной России»:

Осажденное царское самодержавие *сбрасывает, подобно змее, старую кожу*, и в то время как недовольная Россия готовится к революционному штурму, оно *оставляет* (как будто оставляет!) *свою нагайку* и, *переодевшись в овечью шкуру*, провозглашает политику примирения!⁶³

Словом, его басенные твари бесцеремонно попирают любые зоологические конвенции. Так ведет себя, например, хамелеон (представляющий собой некий натуралистический эквивалент апостола Павла, приспособившего свою проповедь к любой ситуации):

Как известно, всякое животное имеет свою определенную окраску, но природа хамелеона не мирится с этим, – со львом он принимает окраску льва, с волком – волка, с лягушкой – лягушки, в зависимости от того, какая окраска ему более выгодна...

Троцкий, меланхолически замечая по этому поводу: «Зоолог, вероятно, протестовал бы против клеветы на хамелеона», приводит еще один захватывающий образчик сталинского «стиля несостоявшегося сельского священника»⁶⁴:

Теперь, когда первая волна подъема проходит, темные силы, спрятавшиеся было за ширмой крокодиловых слез, начинают снова появляться.

⁶² «Злопыхатели глумятся, – печально констатируют сталинисты. – Однако при спокойно-объективном восприятии видно, как точно Сталин передал свои молодые чувства, такое может сделать только тот, кто обладает литературным дарованием» (Семанов С., Кардашов В. Иосиф Сталин: Жизнь и наследие. М., 1997. С. 43).

⁶³ «Типичное для Джугашвили сочетание метафор», – вскользь бросает Р. Такер (Сталин: Путь к власти. С. 119).

⁶⁴ Троцкий Л. Сталин. Т. 1. С. 126.

Жаль, однако, что, высмеивая сталинские изыски, Троцкий не сопоставил их со слогом обожяемого им Ильича, который в одной только своей речи на VII съезде дал целую коллекцию нетривиальных зоологических наблюдений, например такое:

Лежал смиренный домашний зверь рядом с тигром и убеждал его, чтобы мир был без аннексий и контрибуций, тогда как последнее могло быть достигнуто только нападением на тигра.

Позднее в стилистическую кунсткамеру Сталина войдут и собственно советские экспонаты, столь же непредставимые, как ленинские «смирные домашние звери», нападающие на тигра, – например, шагающие свиньи («Иному коммунисту не стоит иногда большого труда перешагнуть, наподобие свиньи, в огород государства и хапануть там») либо пресловутые «империалистические акулы», среди коих «имеет хождение буржуазный план», или их сухопутные заместители: «Волки империализма, нас окружающие, не дремлют». Из советского жаргона позаимствует он такие причудливые сочетания, как «неистовый *вой лакеев* капитала» – или «вой империалистических джентльменов». Правда, у Ленина воют от злобы даже рыбы – «акулы империализма» («Письмо к американским рабочим»), но по части подобной гибридации или бесцеремонной перестановки несовместимых семантических элементов Сталин, пожалуй, перекрывает любые, в том числе и ленинские, рекорды большевистского косноязычия. Однажды на встрече с учеными он поведал, вспоминая 1917 год:

Против Ленина выли тогда все и всякие люди науки.

Не каждый газетчик додумался бы, например, до высказанной им в 1925 году угрозы «взнуздать революционного льва во всех странах мира» – или до болотно-орнитологических наблюдений:

Все заготовали в отечественном болоте интеллигентской растерянности. Так они куковали и куковали, и докуковались наконец до ручки.

В его публицистике постоянно свершаются анатомические чудеса вроде вышеупомянутого склеивания носа Ивана Ивановича с подбородком Ивана Никифоровича. Ср.:

С интересующего нас предмета сняли голову и центр полемики перенесли на хвост.

Согласно этой логике, ранее «центр» помещался в голове: смешаны понятие «центр» – и «глава», главное в предмете.

И разве что брезгливое недоумение должны вызвать столь же хитроумные, сколь и антисанитарные пакости контрреволюционеров, которые норовят «пролезть в открывающуюся щелочку и лишний раз нагадить Советской власти».

Небезынтересны, с другой стороны, сталинские оригинальные охотничьи навыки:

Мы не откажемся выбить у вороны орех, чтобы этим орехом разбить ей голову.

«Вырвать у вороны орех» – это, как мне указал Давид Цискашвили, грузинская идиома, обозначающая ловкача, пройдоху, но вовсе не включающая в себя последующее разбивание вороньей головы. Чтобы представить себе этот изощренный охотничий прием, требуется известная работа воображения, на которую я не способен. Да и не всегда из метафор Сталина можно понять, что он, собственно, имеет в виду, – например, в такой фразе: «Царя уже нет, и вместе с царем снесены прочие царские скорпионы». Что тут подразумевается под «снесенными скорпионами» – знаменитые римские плети из семинарского курса Священной истории или сами эти гады? Может быть, он перепутал их с разрушенными бастионами? Эклектика сказывается, в частности, на змеином облике троцкистско-зиновьевской оппозиции:

Можно по-каменевски извиваться и заметать следы... Но надо же знать меру.

Змея, безудержно заметающая следы, в своем зоологическом коварстве уступает все же Троцкому, который

приполз на брюхе к большевистской партии, войдя в нее как один из ее активных членов.

На XVIII съезде Сталин сравнил Карпатскую Украину с козявкой, а Украину Советскую – со слоном. Развертывая эту богатую антитезу, оратор вступил в прямое соперничество с памятным ему Крыловым:

Подумайте только. Пришла козявка к слону и говорит ему, подбоченясь: «Эх ты, братец ты мой, до чего мне тебя жалко... Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без национального гнета, без фашистских заправил, – какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу не заметить, – нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мне... Ну что ж, так и быть, разрешаю тебе присоединить свою небольшую территорию к моей необъятной территории...»

Но сталинская *подбоченившаяся козявка* была итогом довольно пестрой эволюции. Ей предшествовали другие портативные химеры, выращенные в «Кратком курсе» (1938):

Эти белогвардейские *пигмеи*, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной *козявки*, видимо, считали себя – для потехи – хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье.

Эти *белогвардейские козявки* забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ <...>

Эти ничтожные лакеи фашизма забыли, что стоит советскому народу пошевелить пальцем, чтобы от них не осталось и следа.

Следует бодрое резюме:

НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам⁶⁵.

В 1930 году, т. е. за несколько лет до этого жизнерадостного финала, Сталин на XVI съезде по тактическим соображениям решил на время продемонстрировать смягчение травли. В том самом «Заключительном слове по политическому отчету», где он сравнил оппозиционеров с чеховским «Человеком в футляре», докладчик переключился на инфантильные сопоставления:

Особенно смешные формы принимают у них эти черты человека в футляре при появлении трудностей, при появлении малейшей тучки на горизонте. Появились у нас где-нибудь трудности, загвоздки – они уже в тревоге: как бы чего не вышло. Зашуршал где-нибудь таракан, не успев еще как следует вылезти из норы, – а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти.

Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нет еще ничего опасного, что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там! Они продолжают вопить свое: «Как так таракан? Это не таракан, а тысяча

⁶⁵ История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1945. С. 332. Дальнейшие ссылки – по этому изданию.

разъяренных зверей! Это не таракан, а пропасть, гибель Советской власти»
<...>

Правда, через год, когда всякому дураку становится ясно, что тараканья опасность не стоит и выеденного яйца, правые уклонисты начинают приходить в себя и, расхрабрившись, не прочь пуститься даже в хвостовство, заявляя, что они не боятся никаких тараканов, что таракан этот к тому же такой тщедушный и дохлый. Но это через год. А пока – извольте-ка маяться с этими канительщиками...

Сталин, конечно, пересказывает здесь «Тараканище» (на этот плагиат указал сам Чуковский в своей дневниковой записи от 9 марта 1956 года⁶⁶). На себя он принимает роль отважного Воробья, склевавшего Таракана. Веселый абсурдизм Чуковского, рассчитанный именно на детское восприятие, преподносится здесь как громоздкая метафора весьма взрослой аудитории. В сущности, нелепое и вроде бы высмеиваемое оратором превращение «тщедушного и дохлого таракана» в «тысячу разъяренных зверей» вполне адекватно характеризует как собственные пристрастия Сталина в области политической гиперболики, так и его реальный подход к запуганным жертвам, реализовавшийся потом на московских процессах, когда он устами Вышинского потребовал всех этих жалких «козявок и тараканов» уничтожить, «как бешеных собак».

⁶⁶ «Он пересказал всю мою сказку и не сослался на автора», – обиженно вспомнил Чуковский в эту пору сплошных разоблачений (*Чуковский К.* Дневник 1936–1969. М., 2011. С. 214). Здесь же он опровергает ходячее мнение, будто сказка (написанная еще в 1921 году) изображает самого Сталина.

В капкан под дудку и мельница людоедов: агрегатные метафоры

Тот же эклектический принцип, следуя которому Сталин соединил Чехова с Чуковским, а «тараканью опасность» с «выеденным яйцом», распространяется на все прочие стороны жизни – например, на судорожные телодвижения персонажей:

Вместо того, чтобы сорвать маску с мошенников от оппозиции <...> они лезут в капкан, отпихиваясь от лозунга самокритики, пляшут под дудку оппозиции.

Сделать круто поворот к отступлению с тем, чтобы механически отпали от оппозиции приставшие к ней грязные хвосты.

Козыряли собственно тенью прошлого, козыряли, конечно, фальшиво.

Есть на свете, оказывается, люди <...> которые находят позволительным в эту тяжелую минуту бросить *камень* в железнодорожников, не понимая или не желая понять, что *этим они льют воду на мельницу людоедов*.

Контрастным сочетаниям подвержены у него и природные силы, облюбованные революционной метафорикой:

волны социалистической революции неудержимо растут, осаждая твердыни империализма <...> *Почва* под ногами империализма загорается.

Хочется одним словом охарактеризовать *эту кипучую* жизнь: *ГОРЕНИЕ*.

Страна, которая послужит очагом для <...> вливающих в русло.

Для этой оглушительной словесной какофонии нет никаких вкусовых и смысловых ограничений, она свободна и демократична, как сталинская конституция. Здесь порванная нить может, как в сказке, обернуться сперва мостом и тут же – стеной:

Ниточка эта не выдерживает, рвется нередко, и вместо соединяющего моста образуется иногда глухая стена.

Опять-таки подобная мешанина тропов была не только личным изобретением генсека, но и в какой-то мере товарищеским достоянием всей партийной риторики. Вот тот же Ленин, энергично сконтаминировавший басню с поговоркой: «Пусть моськи буржуазного общества, от Белоруссова до Мартова, визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке большого, старого леса. На то они и моськи, чтобы лаять на пролетарского слона» («Очередные задачи советской власти»). Но с таким же правом можно сослаться и на Бухарина: «Некоторые полудрузья-полувраги используют эти разоблачения для того, чтобы, нагромождая их, как вавилонскую башню, и тщательно вычеркивая каждое светлое пятно, топча ногами свежую зеленую поросль молодой новой жизни, дискредитировать все строительство, всю страну, замазав все черной „сумеречной“ краской», – или того лучше: «Вот этот тип собачьей старости, который идейно родственен дезертирству, но облакается в туманную вуаль „высокого и прекрасного“, нужно лечить, пока не поздно»⁶⁷.

После эдакой собачьей вуали не столь уж впечатляет и сталинская галерея метафорических монстров; просто их у него значительно больше, чем у Бухарина. Родственное и чужеродное, близкое и далекое для Сталина зачастую просто неразличимы:

Меньшевики <...> носят их на руках: рыбак рыбака видит издалека.

⁶⁷ Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989. С. 187; *Он же*. Путь к социализму в России // Избр. произведения. New York, 1967. С. 182.

Это – перепевы старых меньшевистских *песен* из старой меньшевистской *энциклопедии*.

Обратить в щепки карточный домик их мишурной «победы».

Огни революции неизбежно должны прорываться <...> *сводя насмарку* капиталистические *заплаты*.

И откуда только берется у людей эта страсть сравнивать хибарочку с Монбланом?

Вместе с тем тут правомерно говорить об определенной смысловой установке, явственно пробивающейся сквозь мутный стилевой хаос. Я имею в виду отчетливую сталинскую тенденцию к соединению в рамках одного образа фундаментальных бинарных оппозиций – таких, например, как верх и низ (подъем и спуск):

Восходящая линия нарастающих провалов.

Рост их падает прежде всего на районы, где у нас *поднимается* промышленность.

Аналогично синхронизируются у него противоположные – передняя и задняя – стороны пространственных объектов, судя, в частности, по такому образчику сталинского карате:

За старые заслуги следует поклониться им в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы дать им по хребту.

Приветствуя в мае 1938 года в Кремле «работников высшей школы», он поднял тост за новатора Папанина, который, к восторгу аудитории, оказывается,

перевернул устоявшиеся взгляды и представления, *вверх ногами поставил...* (собравшиеся устраивают в честь тов. Папанина горячую овацию) *... вверх ногами поставил старые нормы и дал науке новые перспективы.* Простой человек – товарищ Папанин.

Сообразно этим новым перспективам, оратор назвал его «мужем науки» и соотнес с самим Лениным, успевшим, «вопреки косности», «сорвать цветы науки»⁶⁸ (очевидно, вместо цветов удовольствия).

С перспективой и ракурсом у Сталина вообще дело обстоит как-то неясно, судя хотя бы по такой сентенции: «Оборачиваясь лицом к деревне, мы не можем стать спиной к городу».

Чем же тогда встать к городу?

Вот еще один несколько запутанный случай контрастной синхронизации (ибо Сталин, ко всему прочему, склеивает здесь разные виды движения – гужевое и пешее):

Выпадение части наших лидеров *из тележки* большевистской партии только избавит нашу партию от людей, *путающихся в ногах* и мешающих ей двигаться вперед.

Встречаются и саркастические варианты того же синтеза несовместимых пространственно-мобильных элементов:

Вы знаете, что Каменев и Зиновьев шли на восстание *из-под палки*. Ленин их *погонял палочкой*, угрожая исключением из партии, и они вынуждены были *волочиться* на восстание.

Погоняет палкой тот, кто *сзади*, а «волочиться» можно лишь за тем, кто идет впереди.

⁶⁸ Невежин В. А. Застольные речи Сталина. С. 209.

Но, вероятно, самый впечатляющий вид подобной эквилибристики – постоянное у Сталина сплетение статики и движения, поданное в диком антураже номенклатурного красноречия:

Мертвая точка оцепенения начинает проходить.

Это и есть фракция, когда одна группа членов партии поджидает центральные учреждения партии у переулочка <...> чтобы выскочить потом из-за угла, из засады и стукнуть партию по голове.

Учреждения здесь путешествуют, да еще вместе со всей партией.

Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов как *стрелу*, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов, как *опору* своих надежд, как верный маяк, указывающий им путь освобождения.

Выходит, стремление «сохранить» летящую стрелу превращает ее в незыблемую опору, а последняя преобразуется в «маяк». Аналогичная метаморфоза постигает поэтический утес, древний символ церкви:

«Наша партия *стояла как утес*, отражая бесчисленные удары врагов и *ведя* рабочий класс вперед, к победе». Ср. также: «Перед нами *стоят* две силы. С одной стороны – наша партия <...> С другой стороны – оппозиция, *ковыляющая* за нашей партией»⁶⁹.

Было бы наивно объяснять неуклюжие оксюморонные композиции такого рода одним лишь косноязычием Сталина. На деле они примыкали к еще более обширной серии контрастных комбинаций, представлявших собой как бы спонтанное, непосредственно языковое выражение владевшего им духа всеиспеляющей и коварной «борьбы»⁷⁰, топливом для которой служили всевозможные дихотомии, а идеологической мотивировкой – гегелевско-марксистская «диалектика»⁷¹. Аляповатые сгустки семиотических антиномий словно аккумулировали в себе принцип «единства и борьбы противоположностей» (хотя в таком сопряжении далековатых идей или просто несовместимых семантических элементов можно заподозрить и дополнительный генезис – школьное воздействие старого церковного барокко). По тому же способу он будет отождествлять левую оппозицию с правой, а социал-демократию – с фашизмом. Иначе говоря, в этой стилистической беспринципности таится жесткая политическая направленность, которую нам в дальнейшем предстоит выявить. Тогда мы увидим, что аморфность и приблизительность обернутся выверенной, хитроумно дозированной точностью, продуманностью и подвижностью этого, казалось бы, косного и заскорузлого слога.

⁶⁹ Иногда соединение статики с динамикой дается на фоне крайне унылого идеологического ландшафта, напоминающего какие-то сказочные распутья: «Ленинизм <...> стоял и продолжает стоять на этом пути. Отойти от этого пути – значит попасть в болото оппортунизма. Соскользнуть с этого пути – значит поплестись в хвосте за социал-демократией».

⁷⁰ «По машинальным записям, сделанным в конце 20-х годов, – свидетельствует изучивший их Волкогонов, – можно сделать лишь один определенный вывод: Сталин жил борьбой» (Указ. соч. Кн. I. Ч. 2. С. 189).

⁷¹ О беспринципной «сталинской диалектике» как доминирующей черте его мышления см.: Авторханов А. Технология власти. Frankfurt/M., 1976. С. 233–234.

Мать, которая родила

Манере сочетать несочетаемое у Сталина сопутствует противоположная склонность – к монотонному накоплению однородных смысловых элементов. В литературе о Сталине всегда указывается на утомительную тавтологичность его стиля. Прием этот, призванный обеспечить некий гипнотический эффект, давался ему легко уже вследствие ограниченности его словарного фонда. П. М. Бицилли в статье 1932 года «О литературных экспериментах Зоценко» писал, что тот, как некогда Николай Успенский, верно схватил «одну любопытную тенденцию в языке известного общественного слоя. Это внешне полуобразованные люди, вернее, вовсе необразованные, но внешне прикоснувшиеся к „цивилизации“». Таковы все или почти все герои Зоценко, которые не знают, что им, собственно, делать с накопленным «запасом слов и не могут от него отделаться. *Одно слово по ассоциации влечет за собою другое*». Помимо зоценковских, Бицилли приводит не менее колоритные тавтологии купчиков у Н. Успенского («родной родственник», «духовный поп», «словесная беседа» и пр.), дополняя их примерами из своего речевого опыта: «Господа, ошибка вышла неправильная» (извинения фокусника); «Это я вам говорю, все равно, как врачевный медик» (так парикмахер убеждает клиента). «Гениальность Зоценки, – резюмирует автор, – в том, что он, как никто другой, уловил сущность „полуинтеллигенции“ как социологического фактора и художественно выразил ее культурно-историческую роль, стилизуя специфические особенности ее языка»⁷².

Короче, перед нами вполне сталинский слог, безошибочно выдающий культурную принадлежность генсека именно к «полуинтеллигенции». Но то, что возникло как явление ущербного лексикона, со временем получает у него целенаправленное развитие. (Вместе с тем в чисто деловой его переписке такие огрехи встречаются значительно реже.) В 1923 году, выступая на совещании в ЦК, Сталин заметил: «Тут есть, конечно, повторение, но я считаю, что повторять иногда некоторые вещи не вредно». Задолго до того, в одном из своих ранних писем (1904), он приоткрывает назначение этого метода, говоря, что Плеханов, полемизируя с Лениным, должен был ясно поставить вопросы, «в силу своей простоты и тавтологичности в себе самих заключающие свое решение». Однако как раз в этот юношеский период его слог в целом еще не столь монотонен (так что обычные ссылки на воздействие семинарии тут нерелевантны). Зато с годами, по мере укрепления его власти, сопряженной с все более капитальным погружением в русскую языковую среду, идиолект Сталина не расширяется, а неуклонно беднеет, и число повторов в нем явно возрастает. Вероятно, такая эволюция в значительной степени предопределена и самой природой тоталитаризма, который, как показал Виктор Клемперер на материале Третьего рейха, естественно тяготеет к тавтологическому и скудному жаргону⁷³. Ту же крепнущую тенденцию к монотонному вдальблыванию одних и тех же слов, доступных простой аудитории, П. Брандес проследил у Ленина на примере его подстрекательской речи в июне 1917 года⁷⁴.

Порой Сталин пытается замаскировать тавтологии за счет простого удлинения фразы, но делает это не слишком удачно – можно сказать, чересчур по-зоценковски. Так, Антей «питал особую признательность к *матери своей, которая его родила, вскормила и воспитала*». В ряде случаев посылки и вытекающие из них выводы у него совершенно тождественны, классификация их абсурдна. Ср.:

Она [женщина] может загубить общее дело, если она забита и *темна*, конечно, не по своей злой воле, а *по темноте своей*.

⁷² Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 594–595, 597.

⁷³ Клемперер В. ЛТИ. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М., 1998. С. 46, 229.

⁷⁴ Brandes P. The Rhetoric of Revolt. P. 96–97.

Товарищи! Мы, коммунисты, – люди особого склада <...> Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны героических лишений и героических усилий – вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии. *Вот почему* партия ленинцев, партия коммунистов, называется вместе с тем партией рабочего класса.

Если оставить в стороне роскошный образ «сынов лишений и усилий», суть тирады сведется к тому неоспоримому положению, что «сыны рабочего класса» состоят в «партии рабочего класса». (Впрочем, «сыны лишений» потребовались автору и для того, чтобы растворить в них свое непролетарское происхождение.)

Приветствуя в апреле 1941-го участников декады таджикского искусства, Сталин решил в очередной раз воспеть своего учителя:

Это он, Ленин, научил нас работать так, как нужно работать большевикам, не зная страха и не останавливаясь ни перед какими трудностями, работать так, как работал Ленин⁷⁵.

Вытряхнув из панегирика заполняющую его словесную труху, мы получим тавтологический каркас: «Ленин научил нас работать так <...> как работал Ленин». Приведу другие шедевры того же сорта:

Разжигание борьбы означает не только организацию и руководство борьбой. Оно означает *вместе с тем* <...> *раздувание классовой борьбы*.

Тов. Санина и Венжер делают шаг назад в сторону отсталости.

Россия стала очагом ленинизма, а <...> Ленин – его творцом.

Сгущаясь, сталинские тавтологии обретают маниакальную назойливость:

Если уж брать примеры, то лучше было бы взять пример с гоголевского Осипа, который говорит: «веревочка? – давайте сюда, и веревочка пригодится». Уж лучше поступать так, как поступал гоголевский Осип. Мы не столь богаты ресурсами и не так сильны, чтобы могли пренебрегать веревочкой. Даже веревочкой мы не должны пренебрегать. Подумайте хорошенько, и вы поймете, что в нашем арсенале должна быть и веревочка.

Еще одна щедрая порция масла масляного:

Противоречия можно преодолеть лишь путем *борьбы* за те или иные <...> *цели борьбы*, за те или иные методы *борьбы*, ведущей к *цели*.

Есть, разумеется, и чисто ритуальные многословные повторы – рассмотрим хотя бы его отчетный доклад на двух партсъездах. Готовясь к одному из них, Сталин попросту чуть видоизменил фразы из своего предыдущего выступления:

⁷⁵ Невежин В. А. Застольные речи Сталина. С. 262.

<i>XVI съезд</i>	<i>XVII съезд</i>
Товарищи! Со времени XV съезда прошло два с половиной года. Период времени, кажется, не очень большой. А между тем за это время произошли серьезные изменения в жизни народов и государств.	Товарищи! Со времени XVI съезда прошло более трех лет. Период не очень большой. Но он более, чем какой-либо другой период, насыщен содержанием.
Такова общая картина нынешнего положения в двух словах.	Такова общая картина международного положения в данный момент.
Перейдем к рассмотрению данных об экономическом кризисе в капиталистических странах.	Перейдем к рассмотрению основных данных об экономическом и политическом положении капиталистических стран.
Промышленный кризис главных капиталистических стран не просто совпал, а переплелся с сельскохозяйственным кризисом в аграрных странах.	Кризис промышленный переплелся с кризисом аграрным, охватившим все без исключения аграрные и индустриальные страны.
Нынешний экономический кризис разворачивается на базе общего кризиса капитализма.	Промышленный кризис разразился в условиях общего кризиса капитализма.
Важнейшим результатом мирового экономического кризиса является обнажение и обострение противоречий, присущих мировому капитализму.	Результатом затяжного экономического кризиса явилось небывалое доселе обострение положения капиталистических стран.
Вполне понятно, что в этой обстановке так называемый пацифизм доживает последние дни.	Неудивительно, что буржуазный пацифизм влечит теперь жалкое существование.

Хотя в обоих речах, естественно, присутствуют различающиеся между собой содержательные моменты, обусловленные историческими сдвигами за истекший период, процитированные параллельные фрагменты можно без всякого труда поменять местами. Но если здесь тавтологии объясняются хотя бы обрядовым характером съездов, то в других случаях у Сталина нетрудно найти прямое дублирование обширных пассажей, продиктованное простой любовью к механическому воспроизведению текста, без всякой на то необходимости. Так, он буквально повторяет вопросы своего японского интервьюера Фусе. Можно было бы предположить, что, отвечая на них, Сталин хочет выиграть время или желает удостовериться, что он правильно понял собеседника – но без учета этого пристрастия к тавтологиям все равно будет странно, зачем ему понадобилось дублировать реплики журналиста в самой публикации.

Вопрос. У нас, у японского народа, есть лозунг – «Азия для азиатов». Не находите ли Вы общность между нашим стремлением и вашей революционной тактикой по отношению к колониальным странам Востока?

Ответ. Вы спрашиваете: нет ли общности между лозунгом «Азия для азиатов» и революционной тактикой большевиков в отношении колониальных стран Востока? <...>

Вопрос. Не считаете ли Вы все чаще и чаще происходящие в Китае, Индии, Персии, Египте и других восточных странах события предзнаменованием того, что близко то время, когда западным державам придется похоронить себя в ту яму, которую они сами себе вырыли на Востоке?

Ответ. Вы спрашиваете: не считаю ли я, что усиление революционного движения в Китае, Индии, Персии, Египте и других восточных странах является предзнаменованием того, что близко то время, когда западные державы похоронят себя в той яме, которую они сами себе вырыли на Востоке?

И этот же метод он настойчиво внедряет в свои развернутые теоретические и полемические упражнения.

Почва основы: тавто-логика

Его аргументация тоже строится на более или менее скрытых тавтологиях, на эффекте одуряющего вдалбливания. Как известно, один из употребительнейших видов сталинского дискурса, подсказанный семинарией, – перечисление соподчиненных тезисов. Прием этот распространяется как на положительные, так и на отрицательные полемические доводы: «ложь первая, ложь четвертая, ложь восьмая»; «вторая ошибка, допущенная Троцким... третья ошибка, допущенная Троцким... шестая ошибка Троцкого»; «необходимо разбить и отбросить прочь третью гнилую теорию... необходимо разбить и отбросить прочь пятую гнилую теорию». Похожее построения встречаются и у многих других большевиков, включая Ленина (ср. его канцелярски пронумерованные тезисы, список «**главных пяти уроков**» колчаковщины и т. п.), но опять-таки гораздо реже, чем у Сталина. Больше всего такие перечни смахивают на помесь инвентарной описи с реестром смертных грехов, но в качестве каузально оформленных серий они генетически связаны со школьной аристотелевско-богословской логикой, исходным пунктом которой мыслится абсолютом – Творец как первопричина или безусловная основа обусловленного и опосредованного бытия⁷⁶.

В смутном соответствии как с той же философской традицией, так и с адаптировавшим ее материалистическим детерминизмом (роль «базиса») Сталин охотно дает указания на «источник» или, чаще, на «основу», «основную причину» исчисляемых явлений, которые, в свою очередь, сами могут служить «основой» для дальнейших построений. Ее аграрный эквивалент (симптоматически перекликающийся с протонацистским и нацистским жаргоном) – «корень» или еще более внушительная «почва» – причем, соединяя эти понятия, Сталин создает настоящие шедевры тавтологии: «выкорчевать с корнями»; «та *основа*, на *почве* которой...»; «элементарная *почва*, на *базе* которой...»; и даже «*фундамент*, на *основе* которого...». Но и здесь он только заметно утрирует общеполитическую любовь к всевозможным «корням» и «источкам», да так, что она принимает у него направление, близкое Козьме Пруткову. Девизы «Зри в корень!» и «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь» в сталинском исполнении выглядят следующим образом:

Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда герои и героини труда. В этом корень стахановского движения.

⁷⁶ Некоторое подтверждение этой мысли я нашел у марксиста К. Камерона. Он с большим чувством порицает Сталина за идеалистический уклон, который усматривает у автора четвертой главы «Краткого курса» в примате «метода» (пусть даже диалектического) и «чистой логики» над самим материализмом, вытекающим, в подаче Маркса и Ленина, из практического, а не умозрительного изучения природы и социума. «Его абстрагирующий, аристотелевский метод, – резюмирует Камерон, – несомненно имеет культурные корни в его выучке в Тифлисской духовной семинарии». Особое возмущение вызывает у Камерона встречающаяся еще в дебютном «Анархизме или социализме?» – и в 1946 году с минимальными изменениями перенесенная в Сочинения – сталинская трактовка сознания и материи как «двух различных форм» природы или общества. Понимая эту «форму» по Аристотелю, он пишет: «Постулировать некую третью силу как совместную основу для сознания и материи, – безразлично, называют ли ее природой или как-то иначе, – это не материализм, а идеализм, в конечном счете, производный от аристотелевского „перводвигателя“ и напоминающий мнение Уильяма Джеймса (одобрительно отмеченное Бертрамом Расселом) о том, что „фундаментальное вещество [stuff] мира не ментально и не материально, – это нечто более простое и более фундаментальное“ (т. е. Бог)» (Cameron K. Stalin: Man of Contradiction. Appendix II. Dialectical Materialism: Stalin and After. Stevenage; Herts: The Strong Oak Press, 1989. P. 150–151). Должен возразить, что, вопреки Камерону, «формы» Сталин упоминает не в аристотелевском смысле, а скорее как «атрибуты» субстанции, ибо само представление о природе в качестве совместной основы для сознания и материи подсказано здесь вовсе не Аристотелем, а Спинозой, воспринятым, конечно, в передаче Плеханова (который твердо считал его материалистом). Однако в остальном Камерон, несомненно, прав, говоря о воздействии семинарского Аристотеля на сталинское мышление.

Очень рано были отработаны и негативные версии схемы, в которой еще ощутимо свежее дуновение семинарии:

В этом коренная ошибка съезда, за которой сами собой должны были последовать все остальные ошибки.

Датируется эта формула 1906 годом, но верность ей Сталин сохранил на всю жизнь. Спустя пятнадцать лет он пишет: «В этом непонимании источник ошибок Троцкого», – а спустя двадцать: «Основная ошибка оппозиции состоит в том... Из этой ошибки вытекает другая ее ошибка, состоящая в том... Эти две ошибки ведут к третьей ошибке оппозиции». Своя основа имеется у самых многоликих явлений, например у чьей-либо «слабости»: «Что лежит в основе этой слабости капиталистического мира? В основе этой слабости лежат...»

Таким подходом обусловлено, конечно, и встречное желание Сталина, – роднящее его, впрочем, с другими идеологами большевизма, – непременно «подорвать основы» или «вырвать корни» враждебных тенденций: «Опасность... усиления антисоветской агитации в деревне будет наверняка подорвана в корне»; «Значение этих вопросов состоит прежде всего в том, что марксистская их разработка дает возможность *выкорчевать с корнями* все и всяческие буржуазные теории», и т. п. – примеры бесчисленны. Сами же «основы» порой прихотливо варьируются им даже в рамках одного и того же выступления; но еще чаще они счастливо совпадают во всем с собственными «следствиями».

Бог весть, как его обучали логике, но с чисто формальной стороны сталинские умозаключения представляют собой обширную коллекцию логических ошибок, главные из которых – использование недоказанного суждения в качестве посылки и так называемое *petitio principii*, т. е. скрытое тождество между основанием доказательства и якобы вытекающим из него тезисом. Тавтологичность сталинских аргументов (*idem per idem*) постоянно образует классический «круг в доказательстве»:

«Правильно ли это определение? Я думаю, что правильно. Оно *правильно, во-первых, потому, что правильно* указывает на исторические корни ленинизма» и т. д.

Часто наличествуют перестановка так называемых сильных и слабых суждений, подмена терминов, ошибки – вернее, фальсификации, – сопряженные с соотношением объема и содержания понятий, с дедуктивными и индуктивными выводами и пр. Имитация каузальных схем приводит к тому, что причины и следствия, ввиду их полной тождественности, свободно меняются местами в общем потоке псевдологической суггестии:

Глубочайшая *ошибка* новой оппозиции состоит в том, что она *не верит* в этот путь развития крестьянства, не видит или *не понимает* всей неизбежности этого пути в условиях диктатуры пролетариата.

Ошибка как частное следствие общего непонимания уравнивается здесь с самим непониманием, а выше – с неверием, т. е. феноменом не рационально-логическим, а интуитивным. Затем те же смежные, данные в порядке соположения понятия внезапно рисуются как логически соподчиненные, и число их нарастает (забегая вперед, следует отметить и симптоматический примат веры над пониманием):

А *не понимает* она этого потому, что *не верит* в победу социалистического строительства в нашей стране, не верит в способность нашего пролетариата повести за собой крестьянство по пути к социализму. [Почему бы не наоборот – «А не верит она в это потому, что не понимает...»?]

Отсюда непонимание двойственного характера нэпа <...>

Отсюда непонимание социалистической природы нашей государственной промышленности <...>.

Отсюда непонимание <...> громадной работы партии по вовлечению миллионных масс <...>.

Отсюда безнадежность и растерянность перед трудностями нашего строительства.

Всю эту бесконечную цепь выводов можно без малейшего ущерба свернуть в исходное состояние рокового «непонимания» или «неверия» в упоительные возможности советского крестьянства. Надо сказать, что Ленин временами тоже вытягивает «семинарско»-ритмическую цепочку логических производных, разделенных абзацем, – например, в одной статье 1916 года («Здесь „гвоздь“ его злоклучений <...> *Отсюда* – игнорирование <...> *Отсюда* – упорное свойство...»), – но осмысленность у него имитируется чуть старательнее, тогда как у Сталина эта мнимая последовательность представляет собой чисто декларативное развертывание одинаковых или смежных утверждений, латентно содержащихся в самом первом из них. Вместо каузальной преемственности дается синонимия:

Слова и дела оппозиционного блока неизменно вступают между собой в конфликт <...> Отсюда разлад между делом и словом.

Несчастье группы Бухарина в том именно и состоит, что они <...> не видят характерных особенностей этого периода <...> Отсюда их слепота.

Уж лучше бы перевернуть этот квазилогический ряд, ибо неспособность видеть те или иные «особенности» обусловлена общей слепотой, а не наоборот.

Свой безотказный аналитический прием он начал осваивать еще в молодости – в интеллектуальном отношении все же чрезмерно затянувшейся, – и тут наиболее примечателен его ранний теоретический трактат «Анархизм или социализм?», написанный в возрасте 28 лет (конец 1906 – начало 1907 года). В этой работе содержится множество умопомрачительных тезисов, один из которых открывается величавой максимой: «Диалектический метод говорит, что жизнь нужно рассматривать именно такой, какова она в действительности»⁷⁷. (Вероятно, другие методы предлагают рассматривать ее как-то иначе.) А дальше сказано:

То, что в жизни рождается и изо дня в день *растет*, – неодолимо <...> То есть, если, например, в жизни рождается пролетариат как класс и изо дня в день *растет*, то <...> в конце концов он все же победит. *Почему? Потому, что он растет* <...> Наоборот, то, что в жизни *стареет и идет к могиле*, непременно должно потерпеть поражение <...> То есть, если, например, буржуазия постепенно теряет почву под ногами и *с каждым днем идет вспять*, то <...> в конце концов она все же потерпит поражение. *Почему? Да потому, что она как класс разлагается, слабеет, стареет.*

Физиологическая рисовка диалектики (соприродная архаично-крестьянскому жизнеощущению) концептуально подсказана, быть может, школьным Аристотелем с его классификацией движения – возникновение, уничтожение, рост, старение, – но сама аристотелевская логика схвачена каркасом сталинских тавтологий: один класс растет, потому что растет, а второй – стареет, потому что стареет.

Отсюда и возникло известное диалектическое положение: все то, что действительно существует, т. е. все то, что изо дня в день растет, – разумно, а все то, что изо дня в день разлагается – неразумно.

Этот животноводческий силлогизм, посылно стилизованный под Гегеля, совершенно непригоден к дальнейшему употреблению, и напрасно мы стали бы задаваться вопросом, верно

⁷⁷ Столь же допустим и противоположный подход. В 1934 году в интервью американскому журналисту Сталин одобрил Рузвельта, поскольку тот «реалист и знает, что действительность является такой, какой он ее видит».

ли, что неразумное все-таки существует, хоть и разлагается, или же оно попросту иллюзорно. Его мысль разворачивается в других измерениях, неподвластных философскому дискурсу. Уже в первой из бесспорно атрибутируемых Сталину статей – «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904) – он изобретает чрезвычайно нетривиальные аргументы:

Я вспоминаю русских метафизиков 50-х годов прошлого столетия, которые назойливо спрашивали тогдашних диалектиков, полезен или вреден дождь для урожая, и требовали от них «решительного ответа». Диалектикам нетрудно было доказать, что такая постановка вопроса совершенно не научна, что в разное время различно следует отвечать на такие вопросы, что во время засухи *дождь* полезен, а в *дождливое время* – *бесполезен и даже вреден*.

Хотелось бы, естественно, узнать имена этих потрясающих метафизиков и диалектиков, утаенные автором. Прделанные разыскания привели меня к тому историко-философскому выводу, что соответствующим авторитетом в области русской диалектики «50-х годов прошлого столетия» для него мог служить вышеупомянутый Козьма Прутков, опубликовавший в 1854 году назидательный афоризм:

Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? – ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц – ночью.

Все же у Сталина имелся, помимо Пруткова, непосредственный текстуальный источник. Я подразумеваю глубокомысленное рассуждение Чернышевского, который в 1856 году в «Очерках гоголевского периода русской литературы» так иллюстрировал гегелевскую диалектику, противопоставляя ее ситуативную конкретность всевозможным отвлеченностям:

Например: «благо или зло дождь?» – это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, – надобен ли был он *для хлеба?*» – только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». – Но, в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, – «хорошо ли было это для хлеба?» Ответ так же ясен и так же справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в гегелевской философии все вопросы⁷⁸.

Абсурдистский колорит сталинскому поучению сообщает само снятие этой четкой аграрной «определительности», дополненное выдуманным спором между какими-то русскими метафизиками и их столь же юродивыми оппонентами. Но диалектический пассаж Чернышевского Сталин мог почерпнуть и у Плеханова, уважительно цитирующего максимум о дожде в своем «Монистическом взгляде» (1895). В 1901 году этот мыслитель, которого Ленин, несмотря на политические расхождения, твердо считал лучшим марксистским философом после Энгельса⁷⁹, тоже обратился к метеорологическим доводам:

Историческая эволюция есть цепь явлений, подчиненных определенным законам. Явления, подчиненные определенным законам, суть явления **необходимые**. Пример: дождь. Дождь есть явление закономерное. Это значит, что при определенных условиях капли воды непременно падают на землю.

⁷⁸ Чернышевский Н. Г. Эстетика и литературная критика: Избр. статьи. М.; Л., 1951. С. 286.

⁷⁹ См.: Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1953. С. 252.

И это вполне понятно, когда речь идет о каплях воды, не обладающих ни сознанием, ни волей.

Как мы помним, еще в 1904 году Сталин пожурил Плеханова за недостаточную тавтологичность аргументации. Но не к этому ли авторитету – а совсем не к тифлисской семинарии, как обычно говорят, – восходит и тавтологичность самих сталинских максим, привнесенных им в марксистскую сокровищницу чванливого пустословия? И вовсе не в духовном, а в юнкерском училище воспитывался отечественный преемник Энгельса, изрекавший следующие умозаключения:

Если бы первобытный человек смотрел на низших животных *нашими* глазами, то им, наверное, не было бы места в его религиозных представлениях. Он смотрит на них иначе. Отчего же иначе? Оттого, что он *стоит* на иной ступени культуры. Значит, если в одном случае человек старается уподобиться низшим животным, а в другом – противопоставляет себя им, то это зависит от состояния его культуры («Письма без адреса»).

Идеалистическое понимание истории правильно в том смысле, что оно включает в себе часть истины. Да, часть истины оно включает в себе <...> Есть поэтому доля истины в идеалистическом понимании истории. Но в нем нет еще всей истины («Материалистическое понимание истории»)⁸⁰.

Столь же непреклонной, воистину плехановской, логикой блещет и сталинский анализ капиталистического строя в «Анархизме или социализме»:

Почему плоды труда пролетариев забирают именно капиталисты, а не сами пролетарии? Почему капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии – капиталистов?

Потому, что <...> капиталисты покупают рабочую силу пролетариев, и именно поэтому капиталисты забирают плоды труда пролетариев, именно поэтому капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии капиталистов.

Но почему именно капиталисты покупают рабочую силу пролетариев? Почему пролетарии нанимаются капиталистами, а не капиталисты – пролетариями?

На этот таинственный вопрос Сталин отвечает с той же изнурительной доходчивостью:

Потому, что главной основой капиталистического строя является частная собственность на орудия и средства производства... —

и т. д. и т. п., вплоть до нового логического тупика.

В любом случае этот квадратно-гнездовой способ аргументации нельзя списывать только на авторскую молодость или неопытность, поскольку любовь к нему Сталин сохранил на всю жизнь. Так, в 1925 году он снова «бабачит и тычет»:

Мы имеем, таким образом, две стабилизации. На одном полюсе стабилизируется капитализм <...> На другом полюсе стабилизируется советский строй <...> Почему одна стабилизация идет параллельно с другой, откуда эти два полюса? <...> Потому, что мир раскололся на два лагеря – на лагерь капитализма <...> и лагерь социализма, во главе с Советским Союзом.

При всех ссылках на влиятельные прецеденты странно все же другое – как сочетался такой идиотский назидательный вздор с громадным практическим умом Сталина? Это одно из

⁸⁰ Плеханов Г. В. Избр. философские произведения. Т. II. С. 654; Т. V. С. 306.

многочисленных и трудноразрешимых противоречий, с которыми надо считаться при изучении его текстов. Как бы то ни было, он и здесь выказал замечательную прозорливость. Семена идиотизма, трудолюбиво посеянные им в умах советских людей, принесли пышные всходы, и само фантастическое обилие дураков на сегодняшних коммунистических собраниях великолепно подтверждает неиссякаемую действенность сталинского учения.

Ассоциации по смежности

Мы видели, насколько пестры, контрастны и несогласованны между собой составные элементы его агрегатных метафор, которые объединяются по принципу мнимой тождественности. Однако в тропях Сталина прослеживается и обратная тенденция – почти зощенковская склонность к моторному собиранию смежных смысловых рядов. Здесь у него наличествуют как имитация развертывания, динамического расподобления скрытых тавтологий, так и сущностная неподвижность, застылость выстраиваемого из них образа, стесненного в нищенские пределы собственных отражений. Несколько примеров:

Черная реакция собирает *темные силы* (1905).

Можно и в обратном порядке:

Темная работа черных сил идет непрерывно (1917).

Буржуазия знает, где раки *зимуют*. Она взяла да и выставила пушки у *Зимнего дворца*. (Зимующие раки автоматически подверстываются к Зимнему дворцу.)

Устрялов – автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте <...> Пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем *возить воду* на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет.

Устряловская служба на транспорте трансформировалась у Сталина в должность водовоза (есть тут, видимо, и фольклорный подтекст: воду в преисподней черти возят на грешниках).

Одну из своих речей, напечатанную в «Правде» 2 августа 1935 года, он закончил тостом за то, чтобы железнодорожники *«подняли транспорт, который идет уже в гору, но идет еще покачиваясь»*.

В другой раз он обратился к проблемам классового расслоения в деревне, обличая клеветников, изображавших дело таким образом, будто

большевики <...> не ставили своей задачей проведение борозды между беднейшим крестьянством и зажиточным крестьянином.

Идея о размежевании крестьян подсказывает автору аграрные, хотя и неуместные ассоциации с бороздой (вместо межи).

Так *родилась* социал-демократическая партия Германии. Бебель был ее *повивальной бабкой* <...> Зато правительство наградило его двумя годами тюрьмы, где он, однако, не зевал, написав знаменитую книгу *«Женщина и социализм»*.

Гинекологическая метафора, подкрепленная аллитерацией (Бебель – баба), направила здесь Сталина к смежному мотиву брачного союза между женщиной и социализмом.

Депутата, свернувшего с дороги, они [избиратели] имеют право *прокатать на вороньих*.

Тут же дается аляповатая реализация этой земско-помещичьей идиомы («на вороньих»), отождествляющая избирателей с лошадьми, которые сбрасывают всадников:

Мой совет <...> следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, *смахнуть их с плеч*.

В другом случае колористические ассоциации, навеянные тезисом насчет расового равенства граждан СССР, переходят у Сталина в соседний мотив лошадиных мастей и столь же сумбурную дорожно-транспортную метафорику:

Черные и белые, русские и нерусские, люди всех цветов и народностей стоят в одной упряжке и тянут вместе дело управления нашей страной.

Ср. типологически близкие примеры:

Двух зайцев хотели убить в день выстрелов. (Имеется в виду «Кровавое воскресенье».)

Вы умели биться на улицах против царских фараонов.

«Фараоны», т. е. городовые, механически соотнесены с царем, который явно ассоциируется с египетским правителем из Библии. Столь же автоматически «сэр» тянет за собой смежных «джентльменов»:

Из кого состоит эта самая революция? Из «неизменного» Керенского, из представителей кадетов <...> и из одного сэра, стоящего за спиной этих джентльменов.

Ср. также:

Беспартийность чувствует свое бессилие в деле объединения несоединимого и поэтому вздыхает: «Ах, если бы, да кабы во рту росли грибы!»

Вероятно, Сталин принял эту, оборванную им, поговорку за творение какого-то неведомого стихотворца и потому предусмотрительно ее заковычил и разбил на поэтические строки. Продолжение же поговорки – насчет «огорода» – тут же провоцирует его на незатейливое расширение ботанического смыслового ряда:

Но грибы во рту не растут, и беспартийность каждый раз остается на бобах, в чудаках. Человек безголовый, или – точнее – с репой на плечах вместо головы – вот беспартийность.

Сходным образом переплетающееся с тем же набором аграрных ассоциаций слово «растут» влечет за собой «расцветают», употребленное, однако, совсем не по назначению:

На наших глазах растут и расцветают новые люди.

Даже конспиративная фантазия Сталина предпочитает созидать новые формы из подручного, близлежащего материала. Когда во время войны ему от избытка бдительности захотелось замаскировать фамилии своих полководцев, он снабдил их псевдонимами, которые были всецело выстроены на основе их собственных имен. Из отчества Баграмяна – Христофорович – возник Христофоров, а из отчества Жукова – Константинов. Семен Буденный сделался Семеновым, Александр Василевский – Александровым, Климент (Клим) Ворошилов – Климовым⁸¹ и т. п.

Временами моторные ассоциации носят чуть более сложный характер:

Каменевщина периода апреля 1917 года – вот что тянет вас за ноги, т. Покровский.

То есть «каменевщина» пробудила у автора представление о камне, который тянет за ноги утопленника.

⁸¹ См.: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 1. С. 290.

Вступая в работу, мы знаем, *что путь наш усеян терниями*. Достаточно вспомнить «Звезду», перенесшую кучу конфискации.

Соединение «терний» со «Звездой» подсказано знаменитым «через тернии к звездам», тогда как «куча конфискации» представляет собой, вероятно, прямое видение газетных кип, конфискованных полицией.

Сопричастность вместо аналогий

За любыми литературными приемами Сталина ощутимы те или иные культурные, ментальные и политические притяжения, вызывающие к реконструкции в рамках более широкого контекста. Забегая вперед, следует уточнить, что речь идет о некоторых специфических приметах, разделяющих раннебольшевистский и меньшевистский дискурс и обусловленных базисными особенностями обоих движений. Оплодотворенный семинарией жречески-наставительный слог Сталина мог так впечатляюще разрастись лишь на пажитях раннего большевизма, обладавшего полнотой истины (имеется в виду, конечно, ленинский, а не богдановский извод этой идеологии). При всей своей догматической зачарованности, меньшевизм отличался от него все же большей внутренней свободой, сопряженной с организационной нестабильностью, центробежностью и автономизмом; кроме того, смягчению суровых марксистских нравов несколько способствовала и меньшевистская теоретическая установка на сближение с «либеральной буржуазией». Большевистскому волевому централизму, прагматике и дисциплине (соединявшимся с разжиганием массовых стихийно-разрушительных импульсов) здесь отвечал скорее морально-идеологический консенсус, рассудочный диктат старой доктрины. Само собой, мы тут по необходимости упрощаем живую реальность – эмоциональную, текущую и хаотическую, подверженную влиянию случайных факторов; но ясно, что регулятивные принципы или главенствующие тенденции соперничающих группировок не могли не сказаться на культурном самосознании их сторонников.

Как известно, меньшевизм, сохраняя верность статической модели марксизма, подбирал для всякого данного этапа предугазанного социального развития ближайшее соответствие на исторической шкале⁸². Традиция пришла с Запада, но обилие евреев среди меньшевиков и впрямь придавало раввинистический привкус этой методе, в которой проглядывало нечто от талмудической экзегезы с ее сопоставительной синхронизацией разновременных явлений и приемом расширительных аналогий («каль ва-хомер»). Конечно, у большевиков, включая Ленина, тоже мелькали все эти сравнения современных российских событий с Великой французской революцией, 1848 годом, Парижской коммуной и т. п. (уже в 1920-е годы такие параллели – преимущественно между сталинским режимом и «термидором» – возлюбил Троцкий), но эксплуатировались они все же гораздо реже и почти исключительно в ритуальных или полемических целях. Мало затронула большевизм и древнехристианская традиция аллегорического «прообразования». Сама эта манера была принципиально чужда ленинскому направлению, упорно претендовавшему на живую, диалектическую динамику, открытость и злободневность. Так, говоря о своем режиме, Ленин называет его прямым «продолжением», а вовсе не аналогом Парижской коммуны. Соответственно, и Сталин объявляет последнюю не прообразом, а «зародышем» советской власти. Видимо, это была действительно общая черта большевистской поэтики, присущая и тем, кто, как А. Богданов, призывал «освободить большевизм от ленинизма». Скажем, в программно-«впередовской» статье «Социализм в настоящем» (конец 1910 года) он пишет, что пролетарская организованность и сотрудничество – «не прообраз социализма, а его истинное начало»⁸³. Бухарин в 1922 году высмеивает свойственный «социал-

⁸² «Меньшевики гораздо больше своих конкурентов-большевиков следовали букве марксизма, стараясь действовать в строгом соответствии с линией поведения Маркса и Энгельса в 1848 году, поскольку ситуация в Европе в середине XIX века, по их мнению, больше всего напоминала ситуацию в России в начале 900-х годов. В большом ходу в меньшевистской публицистике (А. С. Мартынов [Пиккер] и др.) были также аналогии с эпохой Великой французской революции конца XVIII в.» (Тютюкин С. В. Меньшевизм как идейно-политический феномен // Меньшевики: Документы и материалы 1903–1917 гг. М., 1996. С. 14).

⁸³ Неизвестный Богданов: В 3 кн. М., 1995. Кн. 2. С. 92.

демократическим талмудистам» прием «аналогий и *исторических параллелей*», «крайне *рискованных*» и даже «*бессмысленных*» («Буржуазная революция и революция пролетарская») ⁸⁴.

Привычно подражая в определениях «лучшему теоретику», Сталин вполне искренне солидаризуется с его подходом. К мишуре интеллигентских сравнений он относится с открытым презрением, поддержанным сочетанием невежества, патриотизма и здоровой житейской эмпирики: «Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий», – в 1925 году говорит он немецкому коммунисту Герцогу. «Меньшевицскую группу» в марксизме Сталин порицает именно за то, что «указания и директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогий и исторических параллелей», – и за ту же манеру бранит Троцкого (бывшего меньшевика), увлеченного «детской игрой в сравнения».

В конце 1931 года, отвечая на вопрос Эмиля Людвига о своем предполагаемом сходстве с Петром Великим, Сталин слово в слово повторил формулы не упомянутого им Бухарина: «*Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна*» ⁸⁵. Сопоставлению он обычно предпочитает уже знакомый нам принцип смежности или причастности: «Я только ученик Ленина, и цель моей жизни – быть достойным его учеником <...> Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан». Капля и океан – часть и целое: сравнение заменено как прямой преемственностью («ученик»), так и включением в общность.

Смена тропов далеко не безобидна. Ср. ее грозные возможности, приоткрывающиеся, например, в поздней брошюре Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где разбор «ошибок т. Ярошенко» строится в двух планах – отрицательном (это не Маркс и не Ленин) и положительном (к кому же они тогда восходят?). Проследим последовательность его ходов, развернутых на протяжении нескольких страниц; для наглядности я использую отдельное издание 1952 года:

а) *Вместо марксистской Политической экономии у т. Ярошенко получается что-то вроде [аналогия] «Всеобщей организационной науки» Богданова (С. 64);*

б) *Следует отбросить не ленинскую формулу, являющуюся единственно правильной, а так называемую формулу т. Ярошенко, явно надуманную и немарксистскую, взятую из богдановского арсенала [причастность] «Всеобщей организационной науки» (С. 66);*

в) *Поступать так, «как это делает т. Ярошенко, – значит подменить марксизм богдановщиной» [прямое отождествление с врагом] (С. 70).*

Но Сталину нужен гораздо более демонизированный противник, чем полузабытый Богданов, – и он без труда его находит:

а) *У него [Ярошенко] получается... что-то вроде бухаринской [аналогия] «общественно-организационной техники» (С. 64);*

б) *В этом вопросе т. Ярошенко перекликается с Бухариным [контакт, т. е. общность] (С. 71);*

⁸⁴ Бухарин Н. И. Путь к социализму в России // Избр. произведения. New York, 1967. С. 157–159, 162.

⁸⁵ Очень редко и преимущественно в полемических видах он, правда, и сам использует параллели (например, между китайской и Октябрьской революциями), подбирая для них примитивное методологическое обоснование. Так, дискутируя с Зиновьевым, по большевистской традиции осудившим этот метод, он заявил: «Было бы глупо утверждать, что нельзя вообще брать аналогий <...> Разве революция одной страны не учится у революций других стран, если даже эти революции являются неоднотипными? К чему же сводится тогда наука о революции?» Следует дежурная апелляция к Ленину, который, по счастью, в одной своей статье, оказывается, «широко пользовался аналогией из французской революции 1848 года при характеристике ошибок тех или иных явлений перед Октябрем».

в) На самом деле *он делает то, что проповедовал Бухарин* и против чего выступал Ленин. Тов. Ярошенко плетется по стопам Бухарина [непосредственное отождествление и причастность] (С. 72).

Справедливости ради надо сказать, что приоритет в использовании подобных приемов принадлежит все же Ленину, о чем можно судить хотя бы на материале «Материализма и эмпириокритицизма». У Сталина такие ходы могут носить принципиально безличный характер, как происходит, допустим, в его докладе на XVII съезде (1934): «Эта путаница в головах и эти настроения, *как две капли воды, похожи* на известные взгляды правых уклонистов». Затем от сходства «двух капель» дается переход к их прямому слиянию; точнее, аналогия подменяется гомогенностью, идеей прорастания (ср. «зародыш») и губительного укрупнения *целевшей части*: «Как видите, *остатки* идеологии разбитых антиленинских групп вполне способны к оживлению». Инквизиторская отмычка действует безотказно: «Случайно ли это совпадение взглядов? Нет, не случайно...»

Несколько иную версию ступенчатой схемы Сталин использовал в 1940 году, когда гнобил А. Авдеенко. Динамика такова: 1) «Весь грех Авдеенко состоит в том, что *нашего брата – большевика – он оставляет в тени*, и для него у Авдеенко не хватает красок»; 2) «Он так *хорошо присмотрелся к врагам, познакомился с ними до того хорошо*, что может изобразить даже с точки зрения отрицательной и с *положительной*»; 3) «Я бы хотел ошибиться, но, по-моему, *едва ли он сочувствует большевикам*»; 4) «Я думаю, что *он человек вражеского охвостья* <...> и он *с врагами перекликается*»⁸⁶. Главное – приобщить жертву к врагам, агентами которых и предстают все эти Богдановы, Бухарины, как и примкнувшие к ним Ярошенко или Авдеенко.

Мы соприкасаемся здесь с универсальным качеством сталинской риторической технологии: несмотря на свою дань революционной метафорике, подлинное первенство она отдает *метонимии и синекдохе*, роднящим ее одновременно и с архаикой, и, естественно, с авангардом (к которому так настойчиво прикрепляет Сталина Борис Гройс⁸⁷). В позитивном аспекте эта – по сути, чисто *пространственная* – поэтика эстетически соответствовала организационной модели большевизма, исходно строившегося – по крайней мере, в теории – как унифицированная структура однородных расходящихся ячеек, управляемых из общего центра⁸⁸. (И под ту же модель со временем подстраивался образ идеологического противника – только он представлял от другой, враждебной совокупности.) Сам этот центр официально призван был замещать «партию в целом», подавляя от ее имени любые претензии на качественные отличия и самобытность. По определению Ленина в «Шаг вперед, два шага назад», такая система обуславливалась неукоснительным подчинением «части целому», готовностью «пожертвовать всей и всякой групповой особенностью и групповой самостоятельностью в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого: партии»; так налаживалась «единая партийная связь всех социал-демократов России», «материальное единство организации» – в противовес идейной, т. е. субъективной и расплывчатой, «интеллигентской» доминанте, выдвигавшейся меньшевиками.

Легко разглядеть, конечно, кровную связь между этой декларативной ориентацией на принципиальную гомогенность движения и марксистско-плекхановским пафосом безличных масс, растворяющих или приобщающих к себе индивида. Марксизм дружески аукался с традиционной имперсональностью и «соборностью» отечественной религиозной традиции, перелицованной на пролетарский и пролеткультовский лад. «Я счастлив, что я этой силы частица, что

⁸⁶ Сталин И. Соч. Тверь. Т. 18. С. 203–204.

⁸⁷ Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993.

⁸⁸ Комментируя программную ленинскую брошюру «Что делать?», Такер говорит, что Ленин хотел создать партию, «чье влияние будет распространяться концентрическими кругами от ядра», состоящего из вождей (Указ. соч. С. 41).

общие даже слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени класс», – писал уже в советское время бывший сверхиндивидуалист Маяковский, вторя заветам агитпропа. И когда Сталин лицемерно рассуждает о «капле» и «океане», он просто переиначивает траурное обращение ЦК после смерти Ленина: «Каждый член нашей партии есть частичка Ленина»⁸⁹.

Безусловно, сталинская пропаганда всю разработывала именно «исторические параллели»: Александр Невский, Иван Грозный и Петр Первый как бы «прообразовывали» вождя. Но тут необходимо учитывать установочное расхождение между официально-экстатическим сталинским культом и его «авторским образом», канонизированным в речах и писаниях⁹⁰. Индивидуальная стилистика Сталина по большей части манифестирует умышленный разрыв с этой выпренной пропагандой, опирающейся на громоздкие исторические прецеденты, создавая вождю алиби за счет его большевистской «скромности», деловитости и реализма. Он выступает как часть, адекватно представляющая целое, как безлично-аскетическое воплощение партийной веры, воли – и несокрушимой марксистской «логики». Рассмотрим ее подробнее, начав, так сказать, с математических представлений Сталина.

⁸⁹ Цит. по: К годовщине смерти В. И. Ленина. 1924 – 21 января – 1925: Сб. статей, воспоминаний и документов. Л.; М., 1925. С. 20.

⁹⁰ Ср.: «Не стоит полностью отождествлять официальную культурную политику тех лет с личностью ее главного творца. Он позволял себе, в определенных пределах, и не считаться с нею, отходить от нее» (*Громов Е. Указ. соч. С. 6*).

Процент истины

Марксистская политэкономия и большевистский коллективизм, вечный примат класса, массы над ничтожной «частицей» стимулировали цифровой подход к реальности, который уже в сталинские (и послесталинские) времена трансформировался в статистическую манию режима, вечно озабоченного подсчетами своих военных, экономических и прочих достижений. С неменьшим усердием режим занимался, однако, их агитационной фальсификацией. И конечно, непревзойденным мастером или изобретателем подобных ухищрений и подтасовок был Сталин.

Цифры, как и сама жизнь, должны соответствовать его теоретическим прозрениям – а не наоборот. Выступая на XV съезде (декабрь 1925 года), он свирепо обрушился на крайне неприятные ему статистические данные по социальной дифференциации крестьянства в советское время (до «великого перелома» еще далеко, и Сталин, придерживающийся «правой» ориентации, пока вовсе не заинтересован в увеличении процента кулаков):

Я читал недавно одно руководство, изданное чуть ли не агитпропом ЦК, и другое руководство, изданное, если не ошибаюсь, агитпропом ленинградской организации [т. е. зиновьевцами, «левыми»]. Если поверить этим руководствам, то оказывается, что при царе бедноты было у нас что-то около 60%, а теперь у нас 75%; при царе кулаков было что-то около 5%, а теперь у нас 8 или 12%; при царе середняков было столько-то, а теперь меньше. Я не хочу пускаться в ход крепких слов, но нужно сказать, что эти цифры – хуже контрреволюции. Как может человек, думающий по-марксистски, выкинуть такую штуку, да еще напечатать, да еще в руководстве? <...> Как могут болтать такую несусветную чепуху люди, именующие себя марксистами? Это ведь смех один, несчастье, горе.

На сталинском жаргоне точные данные называются утратой научной объективности⁹¹ (хотя в повседневной работе он предпочитал, разумеется, реальную статистику, а не диалектические выкрутасы).

Мы верим в то, – добавил он, – что ЦСУ есть цитадель науки <...> Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, *свободные от какого-то ни было предвзятого мнения*, ибо попытка подогнать цифру под то или иное предвзятое мнение есть преступление уголовного характера.

Напрасно протестовал П. Попов из ЦСУ, взволнованно обвинявший Сталина в клевете на свое учреждение и в фальсификации выводов, – его статьи «Правда» отказалась печатать⁹².

В конце 1935 года (период второй пятилетки), призывая комбайнеров усерднее работать ввиду «колоссального роста потребности в зерне», вождь сослался на демографический бум:

Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трех миллионов душ⁹³.

⁹¹ О сталинской псевдостатистике см.: *Лацис О.* Перелом // *Вождь. Хозяин. Диктатор.* С. 101; *Маслов Н. Н.* Указ. соч. // *История и сталинизм.* С. 66–67.

⁹² См.: *Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927.* С. 312–314.

⁹³ Реальные цифры таковы: «Население СССР, например, с осени 1932 по апрель 1933 г. сократилось на 7,7 млн человек, главным образом за счет крестьян» (*Ившицкий Н. А.* Голод 1932–1933 гг.: Кто виноват? // *Судьбы российского крестьянства / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева.* М., 1996. С. 361). См. также: *Роговин В.* Сталинский неонэп. М., [1995]. С. 41–42.

А всего через три года, уже после Большого террора, когда перепись катастрофически поредевшего населения была объявлена вредительской, Сталин на XVIII съезде инкриминировал работникам Госплана использование тех же цифр:

Эти товарищи ударились в фантастику не только в области производства чугуна. Они считали, например, что в течение второй пятилетки ежегодный прирост населения в СССР должен составить три-четыре миллиона человек, или даже больше того. Ого тоже была фантастика, если не хуже.

К статистике, предназначенной для пропагандистских целей, он вообще относится творчески, избегая начетничества, что явствует, к примеру, из продиктованного им числа погибших в войне 1941–1945 годов, которое он снизил до семи миллионов. Тогда же, еще во время войны, перед ним возникла неприятная дилемма. Чтобы как-то убавить, приостановить массовую сдачу в плен, нужно было припугнуть красноармейцев указанием на массовое же истребление военнопленных, проводимое немецкими властями. С другой стороны, ему требовалось всячески скрывать подлинные масштабы этой ужасающей капитуляции, которую он приравнял к измене и дезертирству. Двойственная задача разрешилась статистическим компромиссом. В ноябре 1942 года, когда количество советских солдат, погибших или замученных в немецком плену, уже приблизилось к трем миллионам⁹⁴, Сталин заявил: «Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать военнопленных, убивать их *сотнями*, обрекать на голодную смерть *тысячи* из них».

Он ловко манипулирует пропорциями явлений, степенью их «внутренней значимости». В 1935 году, выступая на Всесоюзном совещании стахановцев, он сказал:

Стаханов поднял техническую норму добычи угля впятеро или вшестеро, если не больше.

Задача сталинской демагогии – распространить фантастические достижения Стаханова на всю промышленность, сделав их чуть ли не обязательной нормой производительности труда. Для этого он далее, в той же самой речи, преподносит некий статистический фокус, внезапно удваивая стахановские рекорды:

Стаханов перекрыл существующую техническую норму, кажется, раз в десять *или даже больше*. Объявить эти достижения новой технической нормой для всех работающих на отбойном молотке (sic) было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, проходящую где-либо *посредине* между существующей технической нормой и нормой, осуществленной тов. Стахановым.

Иначе говоря, за счет эластичного «кажется», объем выработки, навязываемый уже всем шахтерам, и составит изначальное стахановское завышение нормы «впятеро или вшестеро».

Подчас его идеологические выкладки выглядят настолько причудливо, что напоминают школьные упражнения с дробями:

Мы в СССР осуществили девять десятых тех двенадцати требований, которые выставляет Энгельс.

Раковский изменил втрое и сократил вчетверо резолюцию.

Почему, спрашивается, в 1929 году внезапно (и к изумлению Бухарина) начала обостряться классовая борьба, хотя число «капиталистических элементов» неимоверно сократилось? Оказывается, дело в том, что, «несмотря на падение их удельного веса, абсолютно они все-таки растут». Это сказано без тени юмора.

⁹⁴ Семиряга М. И. Военнопленные, коллаборационисты и генерал Власов // Другая война: 1939–1945 / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996. С. 317.

Неважно, какова доля правды в тех или иных – отрицательных или положительных – утверждениях Сталина. Ему достаточно любой зацепки, чтобы вызвать к жизни исполненную тень врага на пропагандистском экране. По этому поводу часто цитируется его заявление, прозвучавшее на докладе «О работах апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК» (1928):

Иногда ругают критиков за несовершенство критики, за то, что критика оказывается иногда правильной не на все 100 процентов. Нередко требуют, чтобы критика была правильной по всем пунктам, а ежели она не во всем правильна, начинают ее поносить, хулить. Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение. Попробуйте только выставить такое требование, и вы закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров, селькоров <...> Ежели вы будете требовать от них правильной критики на все 100 процентов, *вы уничтожите этим возможность всякой критики* снизу, возможность всякой самокритики. Вот почему я думаю, что *если критика содержит хотя бы 5–10 процентов правды, то и такую критику надо приветствовать*, выслушать внимательно и учесть здоровое зерно. В противном случае, повторяю, нам пришлось бы закрыть рот всем тем сотням и тысячам преданных делу Советов людей, которые недостаточно еще искушены в своей критической работе, но *устаами которых говорит сама правда*.

Выходит, надо защищать не оклеветанных людей от травли, в которой содержится всего лишь «5–10 процентов правды» (их возражения и контраргументы парадоксально оцениваются как «хула на критику»), а самих клеветников. Это не только прямое поощрение массового доноительства⁹⁵ – здесь предвосхищены будущие разнарядки по процентам арестов в годы коллективизации и массового террора⁹⁶. И действительно, в 1937-м он объявит, что если в доносах «будет правды хотя бы на 5%, то это уже хлеб»⁹⁷.

Вместе с тем, если того требуют тактические условия, та же минимальная норма достоверности легко может быть обращена против стукачей, «устаами которых говорит сама правда». В статье «Против опошления лозунга самокритики» (июнь 1928 года) Сталин, стремясь застраховать своих выдвиженцев, дает цифрам совершенно противоположную, но столь же гибкую интерпретацию⁹⁸, на сей раз отождествляя именно критику с недопустимой травлей:

Конечно, мы не можем требовать, чтобы критика была правильной на все 100 процентов. Если критика идет снизу, мы *не должны пренебрегать* даже такой критикой [т. е. уже не «приветствовать» ее], которая является правильной лишь на 5–10 процентов. Все это верно. Но разве из этого следует, что мы должны требовать от хозяйственников гарантии от ошибок на все 100 процентов? <...> Разве трудно понять, что самокритика нужна нам не для травли хозяйственных кадров, а для их улучшения и их укрепления?

Если «5–10 процентов правды» могут быть важнее тьмы низких истин, ибо определяют главенствующую тенденцию, то последняя вообще не нуждается в реальной основе или, точнее, испытывает в ней самую минимальную потребность. В предисловии к брошюре Е. Мику-

⁹⁵ Авторханов А. Технология власти. С. 406–407.

⁹⁶ Ср.: *Ивицкий Н. А.* По материалам Политбюро ЦК ВКП(б) и ОГПУ // Судьбы российского крестьянства. С. 282; *Авторханов А.* Там же. С. 410. Ср. также в сталинской речи на I съезде колхозников-ударников (1933) цифры, характеризовавшие классовое расслоение накануне коллективизации: «На каждые 100 дворов в деревне можно было насчитать 4–5 кулацких дворов, 8 или 10 дворов зажиточных».

⁹⁷ *Сталин И.* Выступление на расширенном Военном совете. Соч. Т. 14. С. 226. Там же он посетовал, что настоящего толку все равно не добиться, так как на места «людей посылают не на 100% обсосанных [т. е. проверенных], в центре таких людей мало».

⁹⁸ Ср.: *Лацис О.* Перелом // Указ. соч. С. 104.

линой «Соревнование масс» (1929) Сталин высоко оценил ее «попытку дать связное изложение материалов из *практики* соревнования» – «простой и правдивый рассказ о тех глубинных процессах трудового подъема, которые составляют внутреннюю пружину социалистического соревнования». Приведу некоторые зарисовки этого трудового подъема из главы «Зарядье»:

Даже сама фабрика словно не та стала. На полу ни соринки не найдешь <...> В воскресенье собрались ткачихи фабрику мыть. *В первый раз узнали стены и окна, что такое мочалка и мыло.*

От прядильни говорила Бардина <...> – Пусть ткачихи нос не дерут перед нами. Я думаю, бабочки, что как мы возьмемся, так очень просто можем их обогнать⁹⁹.

Но Сталина поджидала неприятность – Феликс Кон переслал ему уничижительный отклик некоей Руссовой на простую и правдивую брошюру Микулиной, в котором указывалось, что журналистка просто выдумала воспеваемое ею «соревнование масс» со всеми его реалиями. В ответ уязвленный Сталин осудил не благонамеренные домыслы Микулиной, а вполне конкретные возражения Руссовой:

Рецензия т. Руссовой производит впечатление слишком односторонней и пристрастной заметки. Я допускаю, что *прядилки Бардиной нет в природе и в Зарядье нет прядильной*. [Т. е. нет тех самых предприятий, где проводится «соревнование».] Допускаю также, что *Зарядьевская фабрика «убирается еженедельно»*. Можно допустить, что т. Микулина, может быть, будучи введена в заблуждение кем-нибудь из рассказчиков, допустила ряд грубых ошибок, и это, конечно, нехорошо и непростительно. Но разве в этом дело? Разве ценность брошюры определяется *отдельными частностями* [т. е. ее достоверностью], а не *общим направлением*? Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений <...> но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи? В чем состоит достоинство брошюры т. Микулиной? В том, что она *популяризирует* идею соревнования и *заражает* читателя духом соревнования <...> Я думаю, что брошюра т. Микулиной, несмотря на ее отдельные и, может быть, грубые ошибки, принесет рабочим массам большую пользу (1929; первая публикация – 1949).

Этот подход уже полностью предопределяет или, как говаривали в семинарии, «проборазует» утопию социалистического реализма¹⁰⁰. В 4-й главе «Краткого курса» Сталин объявил: «Для диалектического метода важно прежде всего не то, что кажется в данный момент прочным, но начинает уже отмирать, а то, что возникает и развивается, если даже выглядит оно в данный момент непрочным, ибо для него неодолимо только то, что возникает и развивается». Фактически он действует по тому же способу, который однажды приписал основателю большевизма. По его утверждению, дабы «предупредить партию и застраховать ее от ошибок», Ленин «иногда раздувает „мелочь“ и „делает из мухи слона“». (На сей раз полемический смысл данного заявления, впрочем, состоял именно в том, чтобы дискредитировать ссылки оппозиции на Ленина, сведя его высказывания к «мелочи».)

⁹⁹ *Микулина Е.* Соревнование масс. М.; Л., 1929. С. 41, 45–46.

¹⁰⁰ О Сталине как подлинном изобретателе соцреализма см.: *Громов Е.* Указ. соч. С. 157–158. Ср., например, расхожую формулу тех лет в передовой статье журнала «Литературный критик» (1933. № 6): «Советская художественная литература выработала свои принципы художественного творчества, что нашло свое теоретическое выражение в положении тов. Сталина о социалистическом реализме» (с. 5).

Часть или целое

Труднодостижимый ленинский идеал идеологической и организационной *целостности* – сплоченности, спаянности – большевизма был одной из тех установок движения, которые наиболее импонировали Сталину уже благодаря церковным ассоциациям, а также, вероятно, в силу ее самоочевидного родства с фольклорно-магической оппозицией *целый – нецелый, целое – часть*. В его сочинениях целостный образ – например, партии, ленинского учения, некоей политической ситуации – постоянно противопоставляется *дробному и ущербному* восприятию тех же предметов, непременно отличающему меньшевиков, троцкистов и пр. Вместе с тем, как мы только что видели, само соотнесение частного и общего, совокупного носит у него несравненно более хитроумный, скользкий и взаимообратимый характер, чем у всех других партийных писателей, – обстоятельство, парадоксально связанное и с гораздо большей его приверженностью к таким допотопным формам мировосприятия, как тавтологические и особенно кумулятивные модели, о которых мы будем говорить отдельно. Если в тавтологической цепочке все положения наличествуют в самом первом или даже любом из них, значит, эта часть («основа, корень», т. е. потенция развития) на деле равна целому.

Любую деталь, взятую в умозрительной проекции, Сталин готов объявить целокупным феноменом, любую целостность – частной и незначительной подробностью целого. В апреле 1928 года, к примеру, он следующим образом оспаривал критику Бухарина, встревоженного террористической практикой хлебозаготовок: «Поступать так – значит закрывать глаза на главное, выдвигая на первый план *частное* и случайное».

Беспрестанно генерализуя чьи-либо выдергиваемые из контекста словеса, обмолвки, «документы», бумажные «факты», ленинские и прочие цитаты, Сталин демонстрирует настоящие чудеса вербальной эквилибристики. Его политическое чувство слова и функциональная обработка чужого стилевого материала граничат с писательским озарением. Но если к «документам» и цитатам прибегает противник, то Сталин обвиняет его в использовании метода «вырванной цитаты», в неспособности к целостному, духовному усвоению текста. «Тут богатое поле для цитат, – говорит он с горечью о ленинских высказываниях разных лет, – тут богатое поле для всякого, кто хочет скрыть правду от партии»; «В чем состоит зиновьевская манера цитирования Маркса? Ревизионистская манера цитирования Маркса состоит в подмене *точки зрения* Маркса буквой, *цитатами* из отдельных положений Маркса», – и именно в этой манере уличается Зиновьев. (Выходит, ревизионизм заключается не в ревизии, т. е. пересмотре Марксовых текстов, а в дотошном следовании им.) Семинаристская выучка только стимулирует тягу Сталина к этому общебольшевистскому противопоставлению духа и буквы марксизма, которое он успешно обращает против соратников по партии: «Некоторые „читатели“, умеющие „читать“ буквы, но не желающие понять прочитанное, все еще продолжают жаловаться, что Ленин их „запутал“ в вопросе о природе нашего государства <...> Выход, по-моему, один: изучать Ленина не по отдельным цитатам, а по существу, изучать серьезно и вдумчиво, не покладая рук».

Сам же Сталин, если возникает необходимость, охотно эксплуатирует не только «отдельные цитаты», но и какие-то полунамеки и просто невразумительные замечания Ленина, раздувая их в целостную концепцию, «простую и ясную». А когда несравненно более «простые и ясные» ленинские тезисы действительно складываются в целостную доктрину, но по каким-то соображениям его не устраивающую, в дело идут всевозможные выверты по расподоблению целостного понятия, освобожденного от бремени однозначности и строгой очерченности: «То, что у тов. Ленина является оборотом речи в его известной статье, Бухарин превратил в целый лозунг». Ленинскому слову в подобных случаях Сталин приписывает несвойственную

ему метафоричность, иносказательность, поступаясь тем самым своей обычной тягой к прямолинейно-расширительным выводам.

Выразительный пример такой лексической джигитовки – история с термином «диктатура партии», которым охотно оперировал достаточно откровенный Ленин, так что выражение, естественно, закрепилось в официальных партийных резолюциях (хотя оно драматически расходилось с Марксовым пониманием «диктатуры пролетариата», обозначающей правление народного большинства). Сталину, с его ориентальным лицемерием, ленинский термин не пришелся по вкусу, и он стал опровергать его затейливыми ссылками на самого автора, который будто бы «не считал формулу „диктатура партии“ безупречной, точной, ввиду чего оно употребляется в трудах Ленина крайне редко и берется иногда в кавычки». Протестуя против ее отождествления с «диктатурой пролетариата», Сталин поучает:

«Но это же чепуха, товарищи. Если это верно, то тогда не прав Ленин, учивший нас, что Советы *осуществляют* диктатуру, а партия *руководит* Советами». Ср. в другом месте сходную мысль насчет правления политбюро: «Я вовсе не хочу сказать, что партия наша тождественна с государством. *Нисколько*. Партия есть руководящая сила в нашем государстве. Глупо было бы говорить на этом основании, как говорят некоторые товарищи, что Политбюро есть высший орган в государстве. Это неверно. Эта путаница, льющая воду на мельницу наших врагов. Политбюро есть высший орган не государства, а партии [что, кстати, неправильно: по уставу, «высший орган» партии – ее съезд], партия же есть высшая руководящая форма государства.

Казалось бы, раз в стране установлена «диктатура пролетариата», которой, в свою очередь, «руководит партия», то отсюда непреложно следует, что руководство диктатурой и есть сама диктатура в ее высшей инстанции, – но Сталину совсем ни к чему пересуды о том, что именно он, как генсек партии, теперь практически правит государством (в те годы уже популярна острота оппозиционеров насчет «диктатуры секретариата»). Везде и всюду срабатывает двойная формула: «Нельзя противопоставлять... Нельзя отождествлять». Ср. в его выпаде против Зиновьева:

Что значит отождествлять диктатуру партии с диктатурой пролетариата? Это значит... *ставить знак равенства между целым и частью этого целого*, что абсурдно и ни с чем не сообразно.

В таких случаях целое и его часть раслаиваются уже поэтапно:

Между партией и классом стоит целый ряд массовых беспартийных организаций пролетариата, а за этими организациями стоит вся масса пролетариата.

На сей раз задача – ввести посредующие звенья, чтобы удлинить дистанцию и забормотать, загроздить, заслонить главенствующее место партаппарата в системе власти. Однако я предложил бы читателю обратить внимание на совсем другой аспект этой сталинской аргументации. Речь идет о хитроумной манере прикровенно, вскользь менять пропорции и местоположение объекта, то вводя его в гомогенную группу, то выделяя (или, вернее, выталкивая) объект из нее. В данном случае соответствующее скольжение смыслов отражено в двойственном статусе всех составных элементов приведенного ряда.

Дабы разобраться в только что процитированной фразе о партии и классе, вспомним, что, согласно официальной догматике, партия есть непосредственная – хотя и ведущая – *часть* рабочего класса. А раз так, то между ней и «классом» *в целом* нет и не может быть никакого буфера, представленного Сталиным в виде «массовых беспартийных организаций пролетариата» – т. е. профсоюзов и пр., – коль скоро последние – это просто другая (только подчиненная

партии) часть все того же пролетариата. Наконец, ряд замыкается «всей массой пролетариата», анонимно стоящей «за» своими же собственными организациями (а не состоящей в них?). Тождественна ли эта «вся масса» богоносному пролетариату в целом или она тоже остается всего лишь его частью, хотя и самой обширной (которую, если понадобится, можно будет трактовать как несознательный слой класса, нуждающийся в просвещении и строгой опеке)? Все обтекаемо, все двоятся – незыблема только иллюзия непреклонной твердости и ясности определений.

Подобную фрагментацию Сталин использует повсеместно – допустим, в установочной брошюре «К вопросам ленинизма»:

«Диктатура пролетариата состоит из руководящих указаний партии плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата плюс их претворение в жизнь населением. Тут мы имеем дело, как видите, с целым рядом переходов и промежуточных ступеней <...> Между указаниями партии и их претворением в жизнь лежит, следовательно, воля и действия руководимых, воля и действия класса»; «Партия есть ядро власти. Но она не есть и не может быть отождествлена с государственной властью».

Перечисленные «плюсы» на деле суть «минусы» – технические минусы любой диктатуры. С таким же основанием можно было бы отрицать наличие диктатуры, например, в армии, поскольку приказы верховного командования тоже проходят «целый ряд промежуточных ступеней», а их выполнение зависит от «воли и действий» исполнителей. Еще в 1923 году Сталин на XII съезде открыто назвал рабочий класс «армией партии» (это определение встречается у него и гораздо раньше). Словом, в любом случае наличествует именно диктатура партии – и над пролетариатом, и над государством, вернее диктатура ее «руководящих органов». По отношению к ним Сталин контрастно меняет логическую тактику: опустив все промежуточные звенья, он напрямую отождествляет руководящую «часть» («ядро») партии с ней самой:

«Нельзя отделять ЦК от партии. Нельзя»; «Партия исходит из того, что партийный аппарат и партийные массы составляют *единое целое*, что партийный аппарат <...> *олицетворяет* собой руководящий элемент *партии в целом*, что партийный аппарат вмещает в себя лучших людей пролетариата».

Короче, тут нет никаких зазоров и промежуточных ступеней, как это было, когда он говорил о принципиальной нетождественности пролетариата и партии. Сама же Партия непременно – и значительно чаще, чем у прочих авторов, – тяготеет к олицетворению, подчеркивающему ее сакральную внутреннюю целостность («партия говорит... партия указывает... партия считает... партия понимает...»). В январе 1924 года, накануне смерти Ленина, Сталин возглашает, что «партия должна быть единым, самостоятельным организмом с единой волей». Такова, впрочем, общая тенденция с начала 1920-х годов, но Сталин, бесспорно, лидирует в ее разработке и проведении.

Внутри и снаружи, «мы» и «они»: отлучение от целостности

Существенно, что в качестве единого, слитного организма у Сталина партия противостоит собственной своей части – мятежной оппозиции, так что последняя, формально пребывая пока еще в рядах ВКП, одновременно будто выводится за ее пределы (задолго до официального исключения «из рядов»). Простейший пример такой махинации – мерцающий статус крамольного индивида:

Если после каждой атаки Троцкого на партию его начинает бросать в жар, то партия в этом не виновата.

Курьезно, что Бухарин призывает партию последовать его примеру и тоже покаяться, хотя весь мир знает, что партия тут ни при чем, ибо она с самого начала своего существования (1898 г.) признавала право на самоопределение и, стало быть, каяться ей не в чем.

Не думает ли он, что партия существует для него, а не он для партии?

В зачаточной форме такие двусмыслицы восходят к Ленину еще 1900-х годов, но тот был все же гораздо сдержаннее в их применении; ср., правда, его выпад против Троцкого времен Августовского блока: «Мы заявляем *от имени партии в целом*, что Троцкий ведет *антипартийную* политику». Ранний Сталин на какой-то период подхватывает и всячески нагнетает эту – поначалу обусловленную эпизодической ситуацией II съезда и потому нестабильную – тенденцию ленинской группы к прямому отождествлению партийного большинства с целостностью. В 1905 году в брошюре «Коротко о партийных разногласиях» он осуждает редакторов-меньшевиков за то, что они саботируют решения съезда: «Каждый обязан был подчиниться ему: съезд – это выразитель воли партии, высший орган партии, и кто идет против его решений, тот попирает волю партии. Но эти упрямые редакторы не подчинились воле партии, партийной дисциплине (партийная дисциплина – это та же воля партии)». Конечно, после Октября и особенно со времен рокового X съезда склонность к таким определениям, стимулированная заботой о «единстве партии», отличает многих большевистских лидеров – Зиновьева, Троцкого, да и самого Ленина; ср. хотя бы в его заключительном выступлении на съезде:

Троцкий выступил и говорил: «Кто не понимает, что нужно соединиться, тот идет против партии; конечно, мы соединимся, потому что мы люди партии». Я поддержал его. Конечно, мы с тов. Троцким расходились, и когда в ЦК образуются более или менее равные группы, партия рассудит так, что мы объединимся согласно воле и указаниям партии. Вот с каким заявлением мы с тов. Троцким... пришли сюда.

Но «партия» здесь все же конкретное, хотя и обширное сообщество, представленное делегатами съезда, перед которыми отчитываются члены ЦК, как посредством документов обязаны они отчитываться и перед массовыми низовыми организациями. Поэтому и в ленинской речи при закрытии следующего, XI съезда появляется прежнее уточнение: «*Партия в целом* поняла...» – причем эта целостность осмыслена как единство более-менее плюралистического типа.

Вместе с тем с его же подачи в аппаратных верхах явственно крепнет теперь – и особенно после смерти Ленина – авторитарно-централизаторская и центростремительная установка, которую Сталин неустанно поддерживает с тем, чтобы позднее ее узурпировать. В эти 1920-е годы, когда снова актуализируется тема слитного партийного организма, он на первых порах несколько осторожничает в определениях, демонстрируя стремление к точности. Еще в январе 1924 года, накануне смерти Ленина, он достаточно взвешенно формулирует свою полемическую позицию (вернее, позицию правящей группы). Но здесь же, в объеме всего

двух предложений, Сталин проделывает характерный семантический фокус. Сперва исподволь проводится мысль о том, будто оппозиционеры противятся партийному единству, а вслед за тем так же плавно и ненавязчиво совершается переход от «большинства партии» к «партии в целом», трактуемой теперь в качестве сплоченного содружества, которому противостоит крамольное меньшинство:

Центральный Комитет думает вместе с подавляющим большинством партии, что партия должна быть единой, что НЭП не нуждается в пересмотре. Немногочисленная оппозиционная группа, имеющая в своем составе пару известных имен, придерживается другой точки зрения, чем вся партия в целом.

С тех пор понятие «в целом», посредством *pars pro toto*, становится у него сущностным, органическим свойством партии или, что то же самое, ее руководства, вбирающего в себя дух рядовой массы. Напомню хотя бы неуклюжую фразу насчет фракции как «группы членов партии», которые в засаде «поджидают центральные учреждения партии», чтобы «стукнуть партию по голове». Коварно атакованные учреждения («голова») автоматически отождествляются со всей партией. Но где находится нападающая на нее группа партийцев – внутри, т. е. в самой партии, или все-таки уже снаружи? Очевидно, верно второе.

В таком же двусмысленном освещении подается опальная группа и по отношению к партийному «большинству», статус которого примечательно эволюционирует на протяжении небольшого фрагмента из сталинской речи на XIV съезде, долженствовавшей продемонстрировать гуманность генсека:

Позвольте теперь перейти к истории нашей внутренней борьбы внутри большинства Центрального Комитета <...> Ленинградский губком вынес постановление об исключении Троцкого. Мы, т. е. большинство ЦК, не согласились с этим, имели некоторую борьбу с ленинградцами [т. е. с Зиновьевым] и убедили их выбросить из своей резолюции пункт об исключении. Спустя некоторое время после этого, когда собрался у нас пленум ЦК и ленинградцы вместе с Каменевым потребовали немедленного исключения Троцкого из Политбюро, мы не согласились и с этим предложением оппозиции, получили большинство, ограничились снятием Троцкого с поста наркомвоенмора. Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что метод отсечения, метод пускания крови – а они требовали крови – опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого – что же у нас останется в партии?

Сперва борьба разворачивается тут *внутри* того самого («нашего») большинства, в которое входили тогда вместе со Сталиным жестокосердые ленинградцы и Каменев. Затем «мы» – это и есть «большинство ЦК», только уже без зиновьевцев – большинство, получившее доминантный статус: «мы... ограничились... мы не согласились»; зато кровожадные Зиновьев и Каменев теперь ретроспективно переосмысляются в качестве тогдашней оппозиции, а вовсе не части правоверного большинства. И наконец, «мы» исподволь отождествлено со всей «партией» («у нас... в партии»).

Приведу другой, довольно изощренный образец перестановки, поэтапно осуществляемой в объеме небольшого абзаца. В 1928 году Сталин вспоминает о том, как Ленин некогда строго наказал проштрафившихся функционеров:

Прав ли был Ленин, поступая так? Я думаю, что он был совершенно прав. В ЦК тогда положение было не такое, как теперь. Половина ЦК шла тогда за Троцким, а в самом ЦК не было устойчивого положения. Ныне ЦК

поступает несравненно более мягко. Почему? Может быть, мы хотим быть добрее Ленина? Нет, не в этом дело. Дело в том, что *положение ЦК* теперь более устойчиво, чем тогда, и ЦК имеет теперь возможность поступать более мягко.

Рассмотрим графически выделенные фрагменты. Как и в предыдущем случае, сперва речь велась о прежнем положении «в ЦК», то есть *внутри* достаточно разнородной группы, половина которой «шла за Троцким». Затем – уже о положении ЦК как абсолютно целостного образования, выступающего поэтому в качестве коллективной личности, заменившей своего вождя. (В те годы для Сталина уже характерны такие выражения, как «ЦК РКП(б) <... > стал бы хохотать до упаду» и другие, не менее красочные формы персонификации.) Что касается Ленина, то, будучи символом партии и верховным арбитром, он в тот ранний период, согласно этому описанию, пребывал словно за пределами еще рыхлого и неоформленного ЦК, управляя им со стороны. Иначе говоря, обособленность может трактоваться и позитивно – но только тогда, когда она обозначает самую суть, субстанцию большевизма (в дальнейшем мы не раз будем иметь дело с этой чисто метафизической константой сталинского мышления). Во всех остальных случаях выделенность равнозначна роковому отпадению от партии – вернее, от правящей сталинской группы в ЦК. Отсюда и антитезы:

Большевики говорили... Правые уклонисты упорно отмежевывались от большевистского прогноза. (Т. е. правые уклонисты – это уже не большевики.)
Партия отвечает... Оппозиция же говорит...

И наконец:

Вопрос стоит так: либо партия, либо оппозиция.

Дихотомия, как мы только что видели, может разворачиваться и посредством тонких грамматических сдвигов, за счет меняющегося соотношения личных местоимений «мы», «вы» и «они». Утрированно марксистское, массовидное «мы» Сталин употребляет при любой okazji. Даже хрестоматийное «Платон мне друг, но истина дороже» он, на богдановско-богостроительный манер, переключает в коллективистский регистр:

В старину говорили про философа Платона: Платона мы любим, но истину – еще больше. То же самое можно было бы сказать и о Бухарине: Бухарина мы любим, но истину, но партию, но Коминтерн любим мы еще больше.

Получается, что Бухарин, которого Ленин называет «лучшим теоретиком» и «любимцем партии», будто невзначай противопоставлен марксистской «истине» и этой самой «партии»¹⁰¹.

Показателен отрывок из сталинского выступления на выпуске Академии Красной армии (1935):

Эти товарищи <...> рассчитывали запугать нас и заставить свернуть с ленинского пути. *Эти люди*, видно, забыли, *что мы, большевики*, – люди особого покроя. – и т. д.

Антитеза «мы – они», прослеживаемая еще к его ранним антимиеньшевистским выпадам в брошюре 1905 года («*Они* объявили партии бойкот <...> и стали грозить партии»), вообще принадлежит к числу наиболее употребительных сталинских ходов. Чаще всего «мы» – это «большевики», целостная партия, к которой понапрасну пытаются примазаться «они» – лидеры оппозиции, не понимающие «*наших большевистских темпов*»; «в старину

¹⁰¹ Волкогонов совершенно убедительно усматривает в этом, как и во многих других замечаниях генсека, скрытую полемику с ленинской оценкой Бухарина: Указ. соч. Кн. I. Ч. 1. С. 14. Цит. по: *Максименков Л.* Сумбур вместо музыки. С. 194–195.

у нас, большевиков, бывало так... *Мы* этого *от вас* [небольшевиков] не требуем», – а иногда, напротив, требуем:

Вы хотите знать, чего требует от вас партия, уважаемые оппозиционеры, – теперь вы знаете, чего она от вас требует.

Приведу также примечательный пример того, как зреет идея отторжения в самых на первый взгляд миролюбивых сталинских тирадах. В заключительной части своего доклада на XIV съезде Сталин сказал:

Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его *вместе* с Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, *без них* – если они этого не захотят.

Добиться единства *без* Каменева и Зиновьева – это и значит их «отсечь».

Прием столкновения местоимений всегда содержит смертельную угрозу. В декабре достопамятного 1937 года Сталин получил от Л. Мехлиса (редактора «Правды») запрос относительно памфлета «Ад», сочиненного опальным Демьяном Бедным. Обнаружив там «критику советского строя», вождь поручил передать «новоявленному Данте»:

Так как *у нас (у советских людей)* литературного хлама и так не мало, то едва ли стоит умножать такого рода литературу еще одной басней, так сказать...

Спустя много лет, в 1952-м, антитеза звучит все так же зловеще:

Тт. Санина и Венжер, видимо, не согласны с этим. Тем хуже для них. Ну, а *мы, марксисты*, исходим из известного марксистского положения...

Противопоставления могут иметь и не столь инквизиторский, но все же достаточно безрадостный характер. Вот Сталин обращается с речью к хозяйственникам, взявшим на себя повышенные обязательства:

Товарищи! <...> Слово большевика – серьезное слово. Большевики привыкли выполнять обещания, которые они дают <...> Но мы научены «горьким опытом». Мы знаем, что не всегда обещания выполняются.

В нарочито туманной схеме большевики гипотетически противопоставлены «вам», которым еще предстоит доказать свое право на звание коммуниста. Здесь «мы» – это те именно правдоверные («серьезные», настоящие) большевики. Но в принципе дело гораздо сложнее. «Мы» может получать весьма эластичный, нефиксированный набор значений, включающих в себя все что угодно: и «они», и «вы», и, главное, «я».

Та же метода удобна для постановки национальных проблем. На роковом октябрьском пленуме 1952 года Сталин напустился на Молотова, приписав ему семейно-политическую связь с еврейством, желающим отторгнуть от СССР лакомую часть его территории (на самом деле речь шла о провокации, задолго до того готовившейся для уничтожения еврейства): «А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных *еврейских* претензий на *наш Советский Крым*»¹⁰² – т. е. евреи в этой формуле противопоставлены *нам*, Советскому Союзу.

¹⁰² *Сталин И.* Соч. Т. 18. С. 585.

Мы и я: между массой и личностью

Порой «мы» применяется для покаянных формул безлично-обобщенной «большевицкой самокритики», нивелирующих индивидуальную провинность Сталина, – например, его ответственность за постыдно скромный масштаб репрессий: «Сама жизнь не раз сигнализировала *нам* о неблагополучии в этом деле. Шахтинское дело было первым серьезным сигналом». Еще более серьезные сигналы поступали к 1937 году – но, увы, «мы» их тоже своевременно не распознали: «Таковы корни *нашей* беспечности, забывчивости, благодушия, политической слепоты». (Правда, «мы» в данном случае – это скорее «они», прочие партийцы, а не сам бдительный вождь.)

Зато сходные маневры со стороны своих политических противников Сталин незамедлительно пресекает:

Зиновьев говорил в этой цитате о том, что «мы ошиблись». Кто это мы?
Никаких «мы» не было и не могло быть тогда. Ошибся, собственно, один
Зиновьев.

К себе он относится куда снисходительнее. Правда, в 1920-е годы он изредка кается в своих персональных грехах, но, как отмечают биографы, в целом преобладает это его хорошо известное стремление растворить «ошибки» в необъятном лоне партии, свалить вину «на стрелочника»¹⁰³. Единичные формулы индивидуального покаяния могут звучать следующим образом: «Эту ошибочную позицию я разделял тогда с другими товарищами по партии»; «Как один из членов ЦК я также отвечаю, конечно, за эту неслыханную оплошность».

Однако и свое всевластие генсек обычно выдает за выражение партийного или всеобщего «мы». По замечанию Волкогонова, «уже в середине 30-х годов его указания оформлялись как постановления ЦК или циркулярные распоряжения»; а во время войны, занимая несколько должностей, Сталин подписывал документы «тоже по-разному: от имени ЦК, Ставки, ГКО или Наркомата обороны». Нередко на этих директивах, по его распоряжению, проставлялись подписи тех, кто тогда отсутствовал или просто не имел к тексту никакого касательства¹⁰⁴. С другой стороны, не признавая за собой никаких ведомственных ограничений, он распространял свою власть – и свою личность – на все сферы деятельности. «Многие сторонние посетители, вызываемые в Кремль, – пишет Исаак Дойчер, – поражались тому, как во многих вопросах, больших и малых, военных, политических и дипломатических, Сталин лично принимал решения. По сути дела, он был сам себе главнокомандующим, министром обороны, квартирмейстером, министром снабжения, министром иностранных дел и даже *chef du protocole*»¹⁰⁵.

Все выглядело так, будто, прекрасно разбираясь именно в психологической ситуации – по крайней мере, в эмоционально-интуитивном основании любой личности, ее «нижнем этаже», – и строя на этом понимании свою высокоэффективную «кадровую политику», Сталин в то же время парадоксально не способен к осознанию собственно персонального начала, индивидуальной бытийности человека – и потому с такой невероятной легкостью то смешивает его с социальной группой, то резко вычленяет из нее. И точно так же, несмотря на весь свой ревнивый и агрессивный нарциссизм, он без труда отрекается от собственного «я», обволакивая его бесцветным покровом коллектива. Эта двойственность сказывается и в быту: мы знаем о его угрюмой нелюдимости, болезненно проступившей, например, в годы Туруханской

¹⁰³ Иногда оба варианта – укрывание за спиной «мы» и перенос вины на низовых руководителей – у него совмещаются; ср.: «Мы виноваты в том, что целый ряд наших партийных руководителей оторвались от колхозов... Мы виноваты в том, что целый ряд наших товарищей все еще переоценивает колхозы».

¹⁰⁴ Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. I. Ч. 2. С. 108; Кн. 11. Ч. 1. С. 177, а также с. 205–206 и др.

¹⁰⁵ Deucher I. Stalin: A Political Biography. Penguin Books, 1966. P. 456.

ссылки, – но в другие времена он умел контрастно сочетать мизантропическое затворничество и скотскую грубость с повышенной контактностью, умением очаровывать и привлекать к себе множество людей. По данным Волкогонова, он очень редко встречался с посетителями наедине – предпочитал находиться в обществе Молотова, Ворошилова и прочих «товарищей», обычно выполнявших, однако, работу немых статистов, роль коллективистского фона¹⁰⁶.

Мне кажется, Сталин – в некотором согласии с теорией «нарциссического расстройства», развернутой Кохутом¹⁰⁷, – обладал каким-то гуттаперчевым чувством собственной индивидуальности: она то сжималась до эгоцентрической точки, то расширялась в безудержной экспансии, абсорбирующей любую общность. Если его «мы» зачастую предстает только ритуальной завесой для тиранического «я», то и последнее, в свою очередь, нередко подвергается деперсонализации. Более того, как ни странно это звучит, «я» далеко не сразу обретает свою, так сказать, собственно личностную адекватность в его ранних писаниях. Сама истина, вещая его анонимными устами, нерешительно застывает на полпути к персонификации. В одной из первых своих работ, «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904), Сталин напрямую отождествил себя с логикой и учением марксизма. Полемизируя с печатным органом грузинских федералистов «Сакартвело» и, как всегда, стараясь унижить противника, он снисходительно замечает:

Я готов даже оказать ему [«Сакартвело»] помощь в деле разъяснения нашей программы, но при условии, чтобы оно: 1) собственными устами признало свое невежество; 2) внимательно слушало меня и 3) было бы в ладу с логикой.

Единственное, что слегка подрывает эту величавую менторскую позицию, – тот факт, что свою заметку автор публикует без подписи (т. е. без всякого псевдонима). Кого же тогда слушать невежественным оппонентам? Сварливый призрак марксистской истины еще некоторое время продолжает блуждать в конспиративных туманах, не решаясь приоткрыть свой лик. В брошюре «Коротко о партийных разногласиях» (1905) Сталин вновь выступает с обширным набором наставлений, преподнося их все от того же таинственного первого лица. Однако начинающего публициста, конечно, сильно заботит атрибуция текстов, и вскоре он находит удивительное, но вполне характерное для него компромиссное полурешение. Очередную свою публикацию – «Ответ „Социал-демократу“» – Сталин предваряет словами, подчеркивающими его индивидуальное авторство:

Прежде всего я должен извиниться перед читателем, что запоздал с ответом. [С годами он так же клиширует этот покаянный эпистолярный зачин, как и последующую ссылку на свое подчиненное положение в составе «мы».] Ничего не поделаешь: обстоятельства заставили работать в другой области, и я был вынужден на время отложить свой ответ; сами знаете – мы не располагаем собой.

Я должен еще заметить вот что: автором брошюры «Коротко о партийных разногласиях» многие считают Союзный комитет, а не отдельное лицо.

¹⁰⁶ «Когда я приходил докладывать Сталину, – вспоминал Ковалев [бывший нарком путей сообщения], – у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков. Я еще про себя думал: мешают только. Вопросов никогда не задают. Сидят и слушают. Что-то записывают. А Сталин распоряжается, звонит, подписывает бумаги, вызывает Поскребышева, дает ему поручения... А они сидят. Сидят и смотрят то на Сталина, то на вошедшего... И так я эту картину заставал десятки раз... Видимо, Сталину нужно было это присутствие. То ли для выполнения возникающих поручений. *То ли для истории...*» (цит. по: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 1. С. 187). Ср. там же: «Для него это был своеобразный „аппаратный антураж“, психологический допинг, к которому он привык, как к какому-то обряду, ритуалу выработки решений» (Кн. II. Ч. 2. С. 131).

¹⁰⁷ Kohut H. *The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychological Treatment of Narcissistic Personalities Disorders*. New York, 1971. Возможность применения его теории к личности Сталина обсуждается в книге Д. Ранкур-Лафериера. Указ. соч. С. 216–217.

Я должен заявить, что автором этой брошюры являюсь я. Союзному комитету принадлежит только редакция ее.

В дальнейшем у него появятся уточнения обратного свойства: такая-то статья принадлежит не ему лично, а написана по поручению ЦК; с другой стороны, он способен присвоить себе авторство коллективных, хотя и отредактированных им опусов. Все это лишний раз показывает, насколько условной оставалась для него преграда между анонимным «мы» и «я», растекающимися на всю партию. Но пока, в этот кавказский период, мы сталкиваемся с еще более причудливой формой атрибуции: энергично отстаивая в «Ответе» свою публицистическую индивидуальность, Сталин снова оставляет статью без подписи¹⁰⁸.

Легко увидеть здесь прямое сходство с его привычкой безмянно цитировать тех или иных писателей. Иногда так же анонимно он цитирует вместе с ними и самого себя. Вспоминая в 1922 году о Ленском расстреле, он прибавляет: «„Звезда“ была тогда права, восклицая: „Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил...“» – Сталин пересказывает собственную заметку столь же конспиративно, как и подразумеваемого в ней Уитмена.

Он вообще обожал безличные конструкции, безмянные ссылки: «говорят... утверждают». Но эта манера дополняется у него обратной готовностью победоносно атрибутировать абстрактное «говорение» конкретным лицам, будто прорезающимся из серого марева. Естественно, что охотнее всего он применяет этот метонимический прием в криминальных видах, уличая какого-нибудь мелкого оппонента в том, будто тот излагает взгляды Троцкого, Бухарина или другого влиятельного ересиарха. Технология навета нам уже известна. Сперва Сталин выявляет созвучия между чьей-либо «ошибкой» и соответствующей антимарксистской теорией, а потом, верный своей нелюбви к аналогиям, подменяет сопоставление отождествлением.

Правда, и сама личность оппозиционеров, согласно марксистским идеологемам, предстает в сталинском изображении лишь отпечатком или отголоском того или иного враждебного класса или социальной группы, – но весь подлинный интерес и вся интрига сосредоточены для него именно в этой индивидуальной сфере. «Вопрос о лицах не решает дела, хотя и представляет несомненный интерес», – вскользь замечает он, готовясь к разгрому Бухарина.

Достигнув неизмеримо большей власти, чем Гитлер или Муссолини, Сталин, в отличие от них, предпочитал, как известно, вместо «я» говорить «мы». В дальнейшем будет показано, что он узурпировал и коллективистский пафос «богостроителей». С формальной точки зрения тут взаимодействуют два подхода. Согласно принципу *pars pro toto*, он как бы собирает, аккумулирует в себе волю олицетворяемого им целого и потому замещает его, но, с другой стороны, Сталин одновременно остается всего лишь частицей абстрактного социума. В первом случае его «мы» – массивное инкогнито царского величия («мы, Николай Второй...»), во втором – знак марксистской принадлежности к этой же массе. Верный своей склонности к раздвоению, «двурушничеству», он словно и отождествляется с группой, и смотрит на нее извне. Попытаемся как-то очертить, определить эту странно овнешненную позицию.

¹⁰⁸ Аналогичной практики – вероятно, от избытка осторожности – он придерживается и в критических ситуациях 1917 года. «Одной из удивительных особенностей августовских публикаций Сталина, – озадаченно пишет Р. Слассер, – было то, что ни одна из них не носила никаких указаний на его авторство» (Слассер Р. Сталин в 1917 году: Человек, оставшийся вне революции. М., 1989. С. 233).

Мы и сверх-мы: вычленение метафизического субъекта

Если внимательнее присмотреться к знакомой нам фразе: «Партия исходит из того, что партийный аппарат и партийные массы составляют единое целое», то нетрудно будет обнаружить замечательнейший нюанс, проливающий свет на подлинную уникальность сталинского мышления. В апофеоз аппаратно-народного двуединства исподволь привнесен некий третий, главенствующий элемент, а именно «партия» как таковая, чем-то отличающаяся, наверное, и от аппарата, и от собственных своих масс. Это столь же неуловимая, сколь и могущественная абстракция, которая витает, подобно божественному арбитру, над обеими своими составными. Ближе всего к ее сущности стоит, очевидно, понятие «единое целое», но и здесь нет полной тождественности – ибо партия эту свою целостность оценивает тоже как бы извне, словно отвлекаясь от себя самой. С похожей двусмыслицей мы уже соприкасались на материале сталинской демагогии относительно «беспартийных организаций» и «всей массы» пролетариата, отделяющих партию от класса в целом. Где тут сам этот целостный класс?

Под таким углом стоит заново обратиться к соотношению понятий «мы» и «партия». Заканчивая отчетный доклад на XV съезде обычными ритуальными лозунгами, Сталин среди прочего объявил:

Трудности будут. Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо мы – большевики, выкованные железной партией Ленина.

Сквозь эту, казалось бы, заурядную сталинскую тавтологию сквозит чисто метафизическая дихотомия, идущая от «энтелехии» Аристотеля: дихотомия между органической целостностью и простой совокупностью элементов. Оказывается, партия – как отвлеченное субстанциальное единство – «выковывает» именно тех, из кого она состоит, т. е. самое себя. Партия одновременно имманентна и трансцендентна сообществу большевиков, тождественна и внеположна ему. Ср. в более ранней сталинской речи – на XIII съезде:

Основное в чистке – это то, что люди такого сорта [провинившиеся] чувствуют, что *есть хозяин, есть партия*, которая может потребовать отчета за грехи *против партии*. Я думаю, что иногда, время от времени, *пройтись хозяину по рядам партии* с метлой обязательно следовало бы. (*Аплодисменты*)

Примечательна уже концовка первой из двух этих фраз: «против партии», а не против себя, что выглядело бы более естественным. Но повтором прикрыт семантический сдвиг. В тавтологической вроде бы конструкции партия латентно раздваивается – на себя самое как активный субъект («хозяин») и пассивный объект действия. Так что, признаться, я не совсем понимаю, чему, собственно, аплодируют участники съезда. Тому, что партия – в целом – как-то загадочно «хозяйничает» над всеми, кто входит в ее состав? И что означает тогда другая льстивая фраза – о партии как хозяине, подметающем «ряды партии»? Ведь такой «хозяин» должен заведомо находиться вне этих самых рядов, занимать по отношению к ним некую обособленную, наружную позицию. Вероятно, делегатов зачаровала комплиментарность и мнимая простота, иллюзорная ясность сталинской элоквенции.

Итак, в партии вычленяется нечто вроде отвлеченного духа охранительной целокупности, субстанциальный сакральный субъект, равный и одновременно внеположный самому себе как эмпирическому скоплению личностей. Вообще говоря, тенденция к метафизическому раздвоению опорных социальных сил заложена была в самой диктаторской природе коммунизма, властвующего над классом от лица класса и над партией – от лица партии при безотказном содействии «демократического централизма». Ср., например, у Ленина уже в феврале 1918 года, в его обращении от имени ЦК: «Мы уверены, что *все члены партии* исполняют свой долг перед *партией*». Вовсе не Сталин изобрел «павлинистскую» интерпретацию РКП как

церкви и целостного организма (о чем еще пойдет речь во 2-й главе), но именно он сообщил ей столь заостренно-метафизическое выражение¹⁰⁹, проглядывающее, например, уже в заметке 1921 года «Партия до и после взятия власти», где он рассуждает о начальной фазе партийного строительства. Партия вновь распадается – на субъект и объект попечения:

Центром внимания и забот партии [субъект] в этот период является сама партия [объект], ее существование, ее сохранение. Партия рассматривается в этот период как некая самодовлеющая сила.

Кем «рассматривается»? Да, конечно, самой же партией, напоминающей здесь мистико-биологическую Artseele или то, что специалисты по экологии называют иногда «гением популяции», пекущимся о выживании последней. Все же Сталин поначалу ощущал, видимо, какое-то неудобство, связанное с ноуменальным инобытием партии, и через несколько строк обратился к другому, правда еще более абстрактному, гению-хранителю:

Основная задача коммунизма в России в этот период – вербовать в партию лучших людей <...> поставить на ноги партию пролетариата¹¹⁰.

Сходную мистическую роль могут выполнять и прочие абстракции, включая науку. В мае 1938 года, выступая в Кремле перед работниками высшей школы, Сталин поднял тост «за науку, которая <...> готова передать народу достижения науки»; «за науку, которая понимает смысл <...> союза стариков науки с молодыми людьми от науки» (тогда же он предложил выпить и «за здоровье науки», что, конечно, усиливало мотив ее осязаемости и без того анимизации)¹¹¹. Столь же легко раздваивается и сам советский народ у Сталина сообразно его насущным пропагандистским потребностям. Напомню цитату из «Краткого курса»: «*Советский народ приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам*». Очевидно, советский народ в первом своем образе – как коллективный судья, действующий посредством карательного аппарата, – отличается от того народа, который лишь пассивно одобряет эту кару. Любопытны тут изменения, которые Сталин внес в проект Государственного гимна СССР. Первоначальную редакцию стиха: «Нас вырастил Сталин – избранник народа» – он переделал так:

Нас вырастил Сталин – на верность народу.

Даже в первом варианте строка выказывала некоторую зависимость от сталинских семантических дублей («нас», т. е. народ, вырастил наш собственный, народный избранник); но знаменательным результатом его вмешательства явилось уже совершенно непостижимое расслоение смысла: Сталин вырастил народ («нас») на верность народу – как целостному и сакральному понятию, отграниченному от своей подвижной и переменчивой земной ипостаси. Между обеими функциями «народа» обретается сам вожь, соединяющий их своим божественным величием.

В дуалистических конструкциях такого рода потусторонний наставник, «коммунизм», «народ» или его столь же надмирные и всегда персонифицированные аналоги неизбежно выказывают фамильные приметы все той же органической энтелехии либо метафизического

¹⁰⁹ С годами метафизическое противопоставление партии и партийцев все успешнее закреплялось в обрядовой риторике, и, например, Радек в своей покаянной речи на XVII съезде (1934) сокрушался о том, что честолюбивые оппозиционеры, попусту претендуя на руководство, не сумели быть даже «такими рядовыми, которых партия наша воспитала миллионы» (XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1934. С. 627). Радек непринужденно игнорирует то очевидное соображение, что партия и есть совокупность этих самых «миллионов».

¹¹⁰ В этой теологической стилистике Сталин отчасти следует за Лениным, писавшим в «Государстве и революции»: «*Воспитывающая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму*».

¹¹¹ Застольные речи Сталина. С. 208.

начала, статичной парадигмы, управляющей бесконечно изменчивой повседневной жизнью. Это недвижимое русло коварного диалектического потока – та именно школьно-богословская «основа основ», к всевозможным заменителям которой в риторических видах постоянно прибегает Сталин.

Затейливый образчик раздвоения и даже размножения собственной особы, а вместе с ней Кагановича, как и руководимого тем метро – одновременно и «коллектива», и самого сооружения, – являет собой послание, датированное 4 февраля 1935 года:

До ЦК дошли слухи, что коллектив метро имеет желание присвоить метро имя т. Сталина. Ввиду решительного несогласия т. Сталина с таким предложением и ввиду того, что т. Сталин столь же решительно настаивает на том, чтобы метро было присвоено имя т. Кагановича, который прямо и непосредственно ведет успешную организационную и мобилизационную работу по строительству метро, ЦК ВКП(б) просит коллектив метро не принимать во внимание протесты т. Кагановича и вынести решение о присвоении метро имени т. Кагановича. – Секретарь ЦК И. Сталин¹¹².

Сталин как секретарь ЦК, ставший его суммарным олицетворением, извне смотрит на входящего в состав этого ЦК скромного т. Сталина и одобряет его отказ, внося альтернативное предложение переименовать метро именем столь же скромного т. Кагановича как руководителя всего этого проекта, невзирая на протесты т. Кагановича – уже как члена ЦК, обязанного подчиняться его решению.

Теоретическая жесткость базового сакрального абсолюта – или, лучше сказать, сталинской веры в его наличие – прямо пропорциональна неукротимой текучести его протеических проявлений, предельная статика отвечает предельной динамике¹¹³. «Необходимо, – говорит он, – чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую революционность... с максимумом гибкости и маневренности». На уровне стиля такой стратегической двупланности изофункциональна повсеместная особенность сталинской метафоричности, маркированная в начале настоящей книги, – синкретизм статики и движения: «Наша партия стояла, как утес <...> ведя рабочий класс вперед», и т. п. И всегдашней особенностью Сталина будет это соединение алтарного догматизма с невероятной тактической изворотливостью, трупной застылостью – с поистине нечеловеческой живостью особого, богомольного упыря.

Иное дело, что под мощным влиянием этого циничного диалектического релятивизма любые конкретные кандидаты на должность абсолюта – Маркс, Энгельс, Ленин, рабочий класс, политбюро, партия – у Сталина постоянно меняют значение и пропорции, взаимоограничиваются.

В бурлении тактических хитростей и борьбы за власть контуры верховной истины, ее концентрические круги неуклонно сужаются вокруг сталинского «мы», подчиняющего себе ту самую «партию», с которой оно вроде бы отождествлялось. Перечисляя на XIV съезде большевистские достижения, Сталин возгласил: «Мы укрепили партию». Анонимные «мы» суть члены той же самой партии, вернее, уже ее руководство, по отношению к которому она оценивается как производная и в чем-то внешнеположная ему масса, нуждающаяся в цементировании. Но бывает, что и это авторитарное «мы», в свою очередь, незаметно расслаивается, выделяя из себя таинственный остаток, сквозящий за внешне элементарной словесной конструкцией. Ср. в его речи 1937 года:

¹¹² Сталин И. Соч. Т. 14. С. 47.

¹¹³ Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. I. Ч. 2. С. 113–114. По определению Михаила Геллера, в сталинские времена «утверждается доктрина, отличающаяся одновременно гибкостью и жесткостью: она может меняться мгновенно, переходить в свою противоположность, но в промежутке между переменами – она абсолютно неподвижна» (Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: История Советского Союза с 1917 года до наших дней. 2-е изд. London, 1986. С. 282).

Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея.

Кому это – «нам»? Участникам пленума, т. е. самим же большевикам? Исходя из прямого смысла фразы, логичнее было бы заключить, что в данном случае «мы» – это как раз небольшие, которым большевики (взятые в третьем лице, т. е. «они») кого-то там напоминают. Конечно, подобное толкование идеологически недопустимо, но ясно тем не менее, что между обеими категориями партийцев есть какая-то чуть приметная, молчаливо подразумеваемая грань: «большевики» – это объект, а «мы» – субъект суждения. Однако здесь же раскладывается и сам этот (коллективный) субъект. Как главная, авторизованная его часть, «я», будучи всего лишь одним из «нас», претендует одновременно на некий обособленный – третий – статус: «Я думаю, что они нам напоминают». В качестве сверхсубъекта «я» арбитражно возвышается и над «нами», и над «большевиками»¹¹⁴.

Приведем другое, нарочито запутанное высказывание, пригодное для того, чтобы стать наглядным введением в сталинский дискурс:

Партия, – говорит Троцкий, – не ошибается. Это неверно. Партия нередко ошибается. Ильич *учил нас учить партию на ее ошибках*. Если бы у партии не было ошибок, то не на чем было бы учить партию. *Задача наша* состоит в том, чтобы улавливать эти ошибки, вскрывать их корни и *показывать партии* и рабочему классу, как мы *ошибались*.

Кого, спрашивается, Ильич «учил учить» ошибающуюся партию, кто здесь авторитарное «мы»? Конечно, это руководство, неповинное в ошибках всей остальной «партии». К кому же тогда относится последующее обвинение в огрехах – «показать партии... *как мы ошибались*» – ко всей партии или все-таки к «нам» лично, т. е. к этим самым лидерам, кающимся перед кругом соратников? «Мы» снова то растягивается на всю партию, то сжимается до размеров сталинского ЦК. В любом случае совершенно ясно, что только это руководство, обученное Ильичом («мы»), сохраняет, в отличие от профанной публики, целительную прикосновенность к верховному мерилу истины – гаранту распознавания и исправления ошибок.

Партия, Ленин и ЦК у Сталина «неслиянны и нераздельны», как лица Св. Троицы в определении Халкидонского собора. Генсек будет то идентифицироваться с любым из этих божеств, то расчетливо от него отстраняться, приобщаясь к смежному сакральному авторитету. В этой постоянной овнешненности взгляда проявляется его ошеломляющая способность к предательству, отступничеству, мгновенному отречению, получившая с годами столь эпохальное воплощение. И пусть в редуцированном виде, но та же диалектика неслиянности и нераздельности распространяется на его собственный «авторский» образ.

Везде и всюду в его писаниях доминирует готовность выйти из пределов своего «я», взглянуть на него, как на объект, со стороны, отграничиться от собственного облика (как всегда отрекался он от своих сообщников) – с тем, чтобы дать ему оценку, претендующую на непредвзятость. Очень часто такая позиция, как и следовало бы ожидать, граничила с прямым распадом или дроблением личности. Вот, например, фрагмент из его беседы с иностранным визитером:

Людвиг. Вы даже не подозреваете, как Вы правы.

Сталин. Как знать, может быть и подозреваю.

¹¹⁴ Момент отчужденности подчеркнут интонацией неполного знания о «нас»: ведь вместо четко отстраненного (и несколько даже несуразного) «я думаю, что напоминают» куда более уместным выглядело бы простое «могут» или «должны нам напоминать»; вторая, противоположная функция этого неуверенного «я думаю» – обозначить как раз коллективистскую скромность вождя, деликатно отказывающегося от тиранической речевой позиции.

В шутливо-несуразную и скептическую ответную реплику мимоходом привнесен оттенок раздвоенности: Сталин как бы вчуже, извне «подозревает» о правоте Сталина, реагирующего на замечание Людвиг. (Как можно «подозревать» о собственной правоте, коль скоро без самоочевидной убежденности в ней было бы немислимо то самое высказывание, которое тут комментируют собеседники?)

Но, конечно, несравненно более внушительный образчик грамматической шизофрении дают его бесконечные упоминания себя в третьем лице, представленные в широчайшем смысловом диапазоне: от нарциссического призыва Сталина – председателя Госкомитета обороны «сплотиться вокруг партии Ленина–Сталина» (в начальный период войны) до критических замечаний относительно устарелости или неактуальности некоторых положений, выдвинутых в трудах «тов. Сталина». Впервые такую отсылку, данную еще в шутливо-конспиративной форме, я нашел в его письме 1914 года, отправленном Малиновскому из ссылки: «Здравствуй, друг! <...> Мне пишет один из питерских моих приятелей, что работников-литераторов страшно мало в Питере. Если это верно, напиши – я скажу И. Сталину, чтобы он почаще писал. Все-таки помощь»¹¹⁵. С середины 1920-х он всячески закрепляет этот диковатый грамматический ход – причем не без стимулирующего влияния Троцкого, который тогда тоже повадился говорить о себе в этой манере¹¹⁶.

Склонность к автоцитатам объясняют обычно сталинской мегаломанией, что все же не совсем справедливо. Разумеется, было здесь, как у Троцкого, и самолюбование, упоение своим звучным псевдонимом. Но вместе с тем эту привычку говорить о себе в третьем лице Сталин субъективно мог интерпретировать совсем по-другому – как пропагандистски выигрышную декларацию скромности, сопряженной с отказом от кичливого выпячивания своего «я». Подобно Троцкому, он опирался на классическую и весьма почтенную традицию, заданную, в частности, Юлием Цезарем, который в своих «Записках о Галльской войне» писал о себе в третьем лице.

Вообще говоря, иерархическое соотношение между «тов. Сталиным» и ссылающимся на него «я» (чаще всего, правда, само слово «я» в таких случаях скромно опускалось) было сложным и переменчивым. Ему случалось и восхвалять, и, как сказано, порицать свои работы. Но в обоих случаях тот, кто выступал с их овнешненной оценкой, представлял от некоей глобальной, непререкаемой истины, безотносительно к тому, облачался ли он в одеяние ее харизматического вестника или смиренного служителя. Впрочем, подробнее о двупланности его авторского образа будет сказано в последней главе.

¹¹⁵ Цит. по: Большеви́стское руководство. Переписка. 1912–1927. С. 18–19.

¹¹⁶ См., например, его апологетическое письмо в Истпарт (1927): *Троцкий Л.* Сталинская школа фальсификаций: Поправки и дополнения к литературе эпигонов. Берлин, 1932. С. 25 и др.

Хозяин и работник

В социально-административной риторике Сталина место абсолюта занимают, естественно, официальные правители страны – ее партийно-пролетарские «массы». Ведь, согласно усвоенному генсеком канону «демократического централизма», авторитарная элита в конечном счете управляется партийными низами, делегирующими ей свою волю. В борьбе с оппозицией Сталин виртуозно, как никто другой в партии, орудует этими демагогическими трюизмами, ревностно отстаивая культ «дисциплины», который он начал усваивать еще на заре своей партийной карьеры, когда боролся с горделивыми меньшевиками. «Оказывается, – писал он в 1905 году, – партийная дисциплина выдумана для таких, как мы, простых работников!» Добиваясь массовой поддержки, Сталин с 1920-х годов грубо имитирует верноподданническую преданность идеалу плебейского коллективизма, противопоставляя его зазнавшимся партийным вельможам и облекая эту антитезу в доходчивые формы примитивно-экономической субординации, в отношения между «хозяином» и работником. Поучая Троцкого, он превозносит партию за то, что у нее «выросло чувство силы и достоинства, что партия чувствует себя хозяином и она требует от нас, чтобы мы [т. е. члены партии] умели склонить голову перед ней, когда этого требует обстановка». Впрочем, чудесный прилив совершенно аналогичных чувств испытывают, по наблюдению генсека, и все прочие *хозяева* Советского государства. На этот счет он ничуть не скупится:

За последнее время, – говорит он в 1925 году, – у рабочего класса особенно развилось и усилилось чувство силы и чувство своего достоинства. Это есть возросшее чувство хозяина у класса, представляющего в нашей стране господствующий класс.

Словом, не прошло и восьми лет после объявления «диктатуры пролетариата», как этот последний – причем почему-то на взлете нэпа – наконец-то начал ощущать себя пусть не диктатором, но все же хозяином страны. Уже в 1950-е годы Сталин снова говорит, что рабочий класс «держит в своих руках власть и владеет средствами производства». По-хозяйски ведет себя, как следовало ожидать, и колхозное крестьянство. В начале 1933 года, т. е. в разгар Голодомора, генсек, выступая на пленуме, порадовался за счастливого советского мужика:

Теперь крестьянин – обеспеченный хозяин, член колхоза, имеющего в своем распоряжении тракторы, сельхозмашины, семенные фонды, запасные фонды и т. д., и т. п.

Здесь уже упоминался тост, который на самом разбеге террора, в июне 1937 года, Сталин поднял в Кремле за руководителей работников металлургической и угольной промышленности и в котором он, согласно черновой записи, семь раз обмолвился словом «вышка». Стремительная текучесть уничтожаемых им кадров, видимо, навела его на унылую мысль о бренности всего живого, и тогда он впервые противопоставил им нетленную субстанцию – народ как неисчерпаемый резерв подданных (подробнее об этом см. в 4-й главе, в предпоследнем разделе – «Русло потока»). «Руководители приходят и уходят, – сказал вождь, – а народ остается и он всегда будет жить. Скажите, кто живет вечно? Если кто живет вечно, – это народ. *Был руководитель – ушел*». Более того, добавил он с вещим скепсисом, «я даже не уверен, что все присутствующие, я очень извиняюсь перед вами, здесь за народ. Я не уверен, что и среди вас, я еще раз извиняюсь, есть люди, которые работают при Советской власти и там еще застрахованы (sic) на западе у какой-либо разведки – японской, немецкой или польской. Я не уверен еще в этом»; «Очевидно, люди не поняли, на какие вышки их история поставила».

Нас, однако, интересует пока другое – неистребимая тяга генсека к симметричным конструкциям, развернутым в данном случае применительно к взаимоотношениям народа

и начальства. «Быть *хозяином* в старое время – это значит заслужить ненависть у народа, заслужить кличку „*лакея*“, заслужить ненависть народа, – сообщил он. – Некоторые наши руководители – наши *хозяйственники* не понимают еще, на какие большие посты их история поставила и что это значит» (подразумеваются, конечно, именно те непонятливые руководители, что уже завербованы японской и другими разведками). Безотносительно к этому призыв к жесткой симметрии сам по себе побуждает его, однако, назвать советских руководителей (и лояльных, и прочих) тоже «хозяевами» – вместо «хозяйственников», – а бранную кличку: «лакей», ненавистный народу, заменить ее советским адекватом. В итоге получилось нечто до того странное, что и сам оратор был озадачен собственной риторикой – ничуть, впрочем, не смутившей восторженную аудиторию: «Наши руководители – это *хозяева народные*, руководители народа, *его слуги*. // Как видите, тост у меня получился необычайный, конечно, и может быть не совсем понятный (голоса: понятно, понятно)». Но ведь «хозяева народа» при любом раскладе – это все же никак не его «слуги»? Чтобы выйти из положения, Сталин под конец попросту отождествил напрямую этих своих «хозяйственников» и «хозяев»: «Так вот: за *хозяйственников*, которые <...> должны быть хорошими *хозяевами*»¹¹⁷.

Ясно, что от благорасположения этого державного народа безоговорочно зависит и его руководство, включая советское правительство и самого вождя. Ведь всевластному народу ничего не стоит уволить своих нерадивых слуг, особенно тех, кто претендует на диктатуру: «Никогда, ни при каких условиях, наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица», – втолковывает он в 1931 году Э. Людвигу, очарованному советской демократией.

Дело не только в демагогии, сверхъестественном лицемерии или лицедействе Сталина. Отработанная им комическая инверсия подлинной социальной иерархии внутренне мотивирована, ко всему прочему, той же метонимической и синекдохической поэтикой. Его «авторский образ» беспрестанно балансирует между двумя полюсами, по карнавальной оси перемещаясь от ампула вождя, олицетворяющего и концентрирующего в себе волю всего советского общества, до мизерной частицы этого необъятного социума, послушной его суровой власти. В этой шутовской амплитуде было нечто от забав Петра Великого или – если обратиться к еще более употребительной аналогии – от Ивана Грозного, который подвизался то на правах богоравного самодержца, то в карнавальной роли «пса смердящего» – жалкого грешника либо убогого подданного государя Симеона Бекбулатовича. Подобным государем или, если угодно, всемогущим «князь-кесарем» мог быть для Сталина пленум ЦК и партийный съезд, а также ВЦИК, президиум «всенародно и свободно избранного» Верховного Совета и его августейший председатель – «Михалываныч» Калинин, возглавлявшие, согласно сталинской конституции, Советское государство. Для своих бесчисленных рабов Сталин всегда оставался «вождем и учителем», «солнцем народов», «корифеем» и пр., но официальный его титул в течение долгих лет маркировал подчиненную, вспомогательную миссию при коллективном начальстве, – всего-навсего «секретарь ЦК», как он расписывался на директивных документах. «Я человек подневольный», – любил он повторять.

У всесоюзной игры имелся пародийно-домашний эквивалент, подсказанный как плебейско-подьяческим воображением Сталина, знавшего лишь две социальные ниши – холопа и властелина, – так и его национально-этнографическими ассоциациями. Свою малолетнюю дочь диктатор величал «хозяйкой» (во 2-й главе мы коснемся и непосредственно кавказской подоплеку этого прозвища), у которой он, ничтожный «секретаришка», покорно испрашивал «приказы»¹¹⁸.

¹¹⁷ *Невежин В. А.* Застольные речи Сталина. С. 129–133. Там же, на с. 114–115, см. комментарий.

¹¹⁸ Не исключено, что каким-то стимулом для этой эпистолярной клоунады послужило Сталину шутовское послание Г. Пятакова времен Гражданской войны: «Ваше Высокопревосходительство! Осмеливаюсь всепокорнейше, почтительнейше и настоятельнейше просить Вас отдать нам Серго <...> Егорка Пятаков» (Большевистское руководство. Переписка 1912–1927. С. 110).

Копыта партии

Инверсии такого рода отражаются в диалектических причудах пространственно-двигательной семиотики Сталина, неоднократно упоминавшихся на этих страницах. Мы говорили, помимо прочего, о свойственном ему сплетении статики и динамики. В остальных случаях отмечалась странная взаимообратимость и двуединство таких симметричных категорий, как внешняя и внутренняя, лицевая и обратная стороны объектов, движение вперед и назад, верх и низ. Удобной иллюстрацией к сталинскому восприятию социальной иерархии может служить традиционнейшая метафора политического движения к цели или государственного строительства как скачки. Сталин настойчиво пользовался этой кавалерийской аллегорией, словно компенсируя свой – действительно странный для кавказца и так называемого создателя Первой конной – страх перед лошадьми и верховой ездой. «Эти государства... – бросил он как-то в беседе с Роем Говардом по поводу соседей Советского Союза, – прочно сидят в седле». По отношению к народу и стране правящая партия изображалась им в контурах Петра Великого – т. е. в образе седока или жестокого, властного наездника. Комментируя «итоги первой пятилетки», он высказался на этот счет достаточно откровенно:

Партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед <...> Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет.

В 1930-е годы он не раз призывает «новых людей», новые промышленные кадры – «оседлать» и «погнать вперед» технику, а на склоне лет, в «Экономических проблемах социализма», говорит о способности общества «оседлать» даже экономические законы. В то же время и сама эта партия наделяется теми же приметами ездового животного, что и все прочие подданные, – например, копытами:

Партия должна подковать себя на все четыре ноги.

Если тут с газетной непринужденностью собраны в нелепый химерический образ конь и подковывающий его кузнец, то чаще всего Сталин ограничивается прямым сопоставлением любимой партии с тягловой скотиной:

В партии имеются *коренники* и молодые... центровые и окраинные люди. Большинство ЦК, запрягшись в государственную телегу, двигает ее вперед с напряжением всех своих сил.

Согласно его речи от 13 апреля 1928 года, не обделен этой почетной обязанностью и рабочий класс – тот самый, который (в том же выступлении) изображается им в качестве «хозяина» страны:

Нам нужно поставить дело так, чтобы бдительность рабочего класса развивалась, а не заглашалась, чтобы сотни тысяч и миллионы рабочих *впрягались* в общее дело социалистического строительства¹¹⁹.

Не забыта, разумеется, вторая классовая составная советского общества. Еще раньше Сталин выразил надежду на то, что удастся

запрячь крестьянство в общую упряжку с пролетариатом по пути строительства социализма.

Чтобы докомплектовать тройку, к ней осталось присоединить советскую интеллигенцию:

¹¹⁹ Это была и популярная тогда метафора самоотверженной большевистской работы. Ср. в покаянном письме Н. Угланова (заявление в ЦКК, 1933): «Я стараюсь усиленно работать и впрячься в партийную телегу» (цит. по: *Неизвестная Россия: XX век. М., 1992. Т. I. С. 62*).

Она вместе с рабочими и крестьянами, *в одной упряжке с ними*, ведет стройку нового бесклассового общества («О проекте Конституции Союза ССР»).

Тут впору напомнить о профессоре Устрялове, обреченном «возить воду» на большевизм. С другой стороны, если не в меру старательные партийцы зарываются, бестолково ускоряя бег, «таких товарищей надо *осаживать*» (Речь на XIV съезде). Хуже всего, конечно, когда головокружительная скачка уносит их прочь от генеральной линии, когда, как пишет Сталин в 1930 году по поводу «ошибок в колхозном движении»,

одна часть наших товарищей, ослепленная предыдущими успехами, *галопом* неслась в сторону от ленинского пути.

Живописуя эту опасность, Сталин доходит в своем наездническом пафосе до невольного подражания пушкинскому Медному всаднику, сумевшему спасти Россию, остановив ее «над самой бездной»:

Трудно остановить во время бешеного бега и повернуть на правильный путь людей, несущихся стремглав к пропасти.

Иногда он, напротив, побуждает коней сбросить седока – например, в наказе избирателям «следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч». Вероятно, он был знаком с классическим, заимствованным у Платона, святоотеческим образом: разум как всадник или возничий, управляющий мятежными силами, воплощенными в конях. Как бы ни был фальшив демократизм Сталина, прозвучавший в этом увеселительном наказе, глубоко показательно все же его подстрекательское обращение именно к хтоническому символу, к низшему, аффективному слою коллективной советской личности, к ее волюнтаривно-бунтарскому началу, – при несомненной самоидентификации с безжалостным тираном-возничим. Подстрекательский призыв – на сей раз к доносительству («критика снизу») – прозвучал и в только что процитированной здесь речи от 13 апреля 1928 года, где метафору пролетарской трудовой упряжки он соединил с требованием поднять «бдительность» рабочего класса как подлинного «хозяина» страны. Так он и управлял своей партией, своим государством – порабощая низы, он одновременно натравливал их на те или иные негодные ему верхи в нескончаемом процессе циркуляции власти, освежаемой притоком новых, рвущихся к ней социальных сил.

Сверхжесткость и сверхрастяжимость понятий

Итак, мы могли удостовериться, насколько сложна политическая поэтика Сталина, которую принято называть примитивной и однозначной. Волкогонов был глубоко неправ, когда писал: «В мышлении Сталина трудно выделить оттенки, переходы, оговорки, оригинальные идеи, парадоксы. Мысль вождя однозначна»¹²⁰. Напротив – именно «оттенки и переходы», амбивалентное скольжение тончайших нюансов и составляют секрет его мышления, запечатленного в, казалось бы, топорном и монотонном языке. Одним из уникальных свойств сталинского стиля мне видится сочетание этой обманчивой ясности, точности, тавтологической замкнутости ключевых понятий и их внутренней двусмысленности, предательской текучести, растяжимости.

Если тавтологические конструкции маскируются под ступенчатое логическое развертывание, то, с другой стороны, как мы не раз видели, одно и то же слово таит в себе запас контрастных значений, как бы спрессованных в его мнимой четкости и однозначности. Даже слово «колхоз», столь любезное Сталину, на поверку предстает сгустком бинарных оппозиций, вступающих между собой в непримиримый конфликт. Оказывается, что

колхозы и Советы представляют лишь *форму* организации, правда, социалистическую, но все же *форму* организации. Все зависит от того, какое *содержание* будет влито в эту форму <...> Колхозы могут превратиться на известный период в прикрытие всякого рода контрреволюционных деяний, если в колхозах будут заправлять эсеры и меньшевики, петлюровские офицеры и прочие белогвардейцы, бывшие денкинцы и колчаковцы <...> Колхозы могут быть *либо* большевистскими, *либо* антисоветскими.

По этой заговорщической логике, предельно далекой от ортодоксального марксизма с его приматом «производственных отношений», и рабовладение, и крепостное право, и наследственный земельный надел можно объявить всего лишь «формой организации»¹²¹, в которую достаточно влить социалистическое содержание. И напротив: весь режим «диктатуры пролетариата» и сама коммунистическая партия легко могут наполниться капиталистическим контрреволюционным содержанием, если в них «будут заправлять» агенты разгромленной ранее буржуазии. Так, собственно, и произойдет позднее – в сталинской трактовке – с Югославией.

Как пример криминальной двусмысленности стоит привести и слово «товарищ». В своей, уже упоминавшейся тут, речи на выпуске Академии Красной армии (1935) Сталин, подводя итоги партийно-государственным достижениям (коллективизации и индустриализации, сопряженной с «жертвами» и «жесточайшей экономией»), сказал:

Но не у всех наших товарищей хватило нервов, терпения и выдержки <...> Эти товарищи не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. Более того: *они угрожали кое-кому из нас пулями*. Видимо, они рассчитывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского пути. Эти люди, очевидно, забыли, что *мы, большевики*, – люди особого покроя. Они забыли, что *большевиков не запугаешь* ни трудностями, ни угрозами <...> Понятно, что мы не думали сворачивать с ленинского пути.

¹²⁰ Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. I. Ч. 1. С. 217.

¹²¹ Любопытно вместе с тем, что рассуждение насчет Советов как пустой «формы» Сталин взял у левых коммунистов (Бухарин и др.), выдвинувших этот тезис в период Брестского мира, к немалому возмущению Ленина: «Мы не скажем, что Советская власть есть только форма, как сказали нам молодые московские друзья» (Речь на VII экстренном съезде в 1918 году; см. также в его тогдашней статье «Странное и чудовищное»).

Более того, укрепившись на этом пути, мы еще стремительней пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препятствия. Правда, нам пришлось при этом на пути помять бока кое-кому из этих товарищей. Но с этим уже ничего не поделаешь. Должен признаться, что я тоже приложил руку к этому делу. (*Бурные аплодисменты, возгласы «ура».*)

Спрашивается, являются ли для большевиков «товарищами» враги ленинизма, люди, угрожающие им пулями? Эластичное слово «товарищ» таит в себе обвинения, чреватые грядущим истреблением тех, к кому оно прилагается. Сталинское слово отличается тем самым двурушничеством, которым он так любил попрекать своих противников. Перед тем как расстрелять Зиновьева и Каменева, он, обращаясь к обоим арестантам, доставленным в Кремль, тоже назвал их «товарищами»¹²². А в 1937-м на закрытом заседании Военного совета он так же назвал военных руководителей, якобы завербованных Германией (и уже проходящих пыточное следствие): «Вот эти малостойкие, я бы сказал, *товарищи*, они и послужили материалом для вербовки»¹²³.

Порой двусмыслицы подаются в ироническом освещении, как, например, в «Ответе товарищам колхозникам» (1930):

Я получил за последнее время ряд писем от товарищей колхозников с требованием ответить на поставленные там вопросы. Моя обязанность была ответить на письма в порядке частной переписки. Но это оказалось невозможным, так как больше половины писем было получено без указания адреса их авторов (забыли прислать адреса). Между тем вопросы, затронутые в письмах, представляют громадный политический интерес для всех наших товарищей. Кроме того, понятно, что я не мог оставить без ответа *и тех товарищей, которые забыли прислать свои адреса.*

Многочисленные *товарищи*¹²⁴, подверженные внезапной рассеянности, представляют собой весьма характерный образчик сталинской иронии.

Почти каждое слово прячет в себе собственный негатив. В принципе тут бесспорна прямая зависимость от Ленина, который, по определению Ю. Тынянова, занимается «анализом лексического единства слов; полемизируя, разоблачая лозунг, он дает его словарный анализ и указывает затуманивающее действие фразы и лексического плана: «Спрашивается: – Равенство какого пола с каким полом?» (Увы, надо признать, что ввиду необычайного обилия полов, предполагаемого ленинским вопросом, поучительная сила цитаты несколько поколеблена.) И далее: «Лексическое единство взрыхлено. Слово как название лексического единства перестает существовать. Исчезает эмоциональный „ореол“ „слова вообще“, и выдвигаются отдельные конкретные ветви лексического единства»¹²⁵. Вся разница, однако, в том, что Сталин не «взрыхляет», а резко раздваивает лексическое единство; он заботится вовсе не о разоблачительной конкретизации различных «ветвей», а о строго симметрическом противопоставлении двух смыслов:

Нам нужна самокритика – не та критика, злобная и по сути дела контрреволюционная, которую проводила оппозиция, – а критика честная,

¹²² Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк; Иерусалим, 1983. С. 135.

¹²³ Сталин И. Соч. Т. 14. С. 223.

¹²⁴ Общее число этих писем насчитывало не менее 50 тысяч. – См.: «Коллективизация и раскулачивание в начале 30-х годов» // Судьбы российского крестьянства. С. 283.

¹²⁵ Словарь Ленина-полемиста (1924) // Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 222–223. Надо заметить, что Тынянов в общем следует интерпретации ленинского стиля, уже закрепившейся к тому времени в партийной печати.

открытая большевистская самокритика. [Как будто злобная критика не может быть честной и открытой.]

Само собой понятно, что речь здесь идет не о «всякой» критике. Критика контрреволюционеров является тоже критикой. <...> Критика нужна нам для укрепления Советской власти, а не для ее ослабления.

Два слова о характере наших трудностей. Следует иметь в виду, что наши трудности никак нельзя назвать трудностями застоя или упадка <...> Наши трудности не имеют ничего общего с этими трудностями <...> Они есть трудности *подъема*, трудности роста.

И вообще:

Нам нужна не всякая индустриализация.

Нам нужен не всякий рост производительности народного труда.

Нам нужен не всякий союз с крестьянством.

Нам нужна не всякая связь между городом и деревней.

Нам нужна не всякая дискуссия и не всякая демократия.

Не всякого старика надо уважать, и не всякий опыт нам важен.

Более того, сами эти диалектические контрасты тоже подвержены взаимному противопоставлению или разделению:

Нельзя сваливать в одну кучу два ряда неодинаковых противоречий. (И наоборот – при случае он может объединить их, заявив: «Наши разногласия – не принципиальные разногласия».)

Расподоблению внутренних контрастов отвечает их обратное соединение в диалектических оксюморонах:

Капитализм, развивавшийся в порядке зашивания.

Прогрессивное загнивание капитализма.

Запад с его империалистическими людоедами превратился в *очаг тьмы* и рабства.

Отрицательный омоним способен лишь мимикрировать под симметричное ему положительное понятие. Отсюда суеверная сталинская манера – присущая, впрочем, всей советской публицистике начиная с Ленина – закавычивать самые обычные слова, коль скоро они увязываются с политическим противником: «работа» врага, его «сочинения», «отдых» и пр. Это псевдослова, вербальные маски лицемера и подлого оборотня, которые требуется поскорее сорвать¹²⁶. Взять, к примеру, слово «мир». Еще в 1913 году Сталин писал: «Когда буржуазные дипломаты готовят войну, они начинают усиленно кричать о „мире“ и „дружественных отношениях“. Если какой-нибудь министр иностранных дел начинает распинаться на „конференции мира“, то так и знайте, что „его правительство“ уже отдало заказ на новые дредноуты и монопланы <...> Хорошие слова – маска для прикрытия скверных дел». В общем, как и во множестве сходных заявлений («Пацифизм нужен буржуазии для маскировки» и т. п.), Сталин очень точно предсказал здесь пацифистскую кампанию, организованную им в период подготовки к третьей мировой войне¹²⁷. Мы еще не раз встретимся с этой гротескной и хорошо

¹²⁶ Разоблачительные и иронические кавычки Тынянов повсеместно фиксирует у Ленина, даже изобретшего особый термин – «слово-мошенник» (Указ. соч. С. 217–219, 238). Клемперер, называя этот прием «врожденным признаком» национал-социалистического жаргона, тщательно обходит вопрос о его большевистском генезисе (см.: *Клемперер В.* Указ. соч. С. 96). Вернее сказать, прием «иронических кавычек» появился, конечно, задолго до большевизма, но тот дал ему самое систематическое и энергичное применение, оказавшее влияние и на фашистскую риторику.

¹²⁷ Вспоминая предоктябрьскую большевистскую тактику 1917 года, Сталин как-то заметил: «Революция как бы маскировала свои наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные,

известной особенностью его симметрических построений: инкриминировать врагу свои собственные преступления, собственную тактику – или же, зачастую вполне откровенно, присваивать себе приемы противника.

Другие его словоупотребления носят заведомо расплывчатый, безразмерный характер, облегчающий свободу маневра. Достаточно присмотреться, например, к пресловутому термину «кулак». Без конца бичуя кулаков, противопоставляя их середнякам и беднякам, Сталин ни разу не озаботился опубликовать свое сколь-нибудь ясное и отчетливое определение для этих, по существу, крайне зыбких обозначений¹²⁸. Более того, он раздраженно реагирует на любые попытки строгой «марксистской» классификации этих слоев. На июльском пленуме 1928 года генсек процитировал записку сотрудника газеты «Беднота» Осипа Чернова: «Необходимо <...> грубее сделать признаки, откуда начинается эксплуататорское, кулацкое хозяйство». В ответ Сталин дает волю своему негодованию: «Вот оно – „расширение“ нэпа. Как видите, семя, брошенное Троцким, не пропало даром». Позднее он с возмущением пересказывает возражения Бухарина, который искренне недоумевал по поводу применения подобной градации к условиям нищей советской деревни: «Он так и говорил здесь в одной своей речи: разве наш кулак может быть назван кулаком? Да ведь это нищий, – говорил он. А наш середняк – разве он похож на середняка? – заявлял здесь Бухарин. – Это ведь нищий, живущий впроголодь¹²⁹. Понятно, что такой взгляд на крестьянство является в корне ошибочным взглядом, несовместимым с ленинизмом». (Через несколько лет, уже восхваляя блаженную колхозную жизнь, вождь для контраста упомянул о прежней бедности – и из его замечания явствует, что все-таки прав был Бухарин. «Добрая половина середняков, – сказал Сталин, – находилась в такой же нужде и лишениях, как бедняки».)

Десятки раз до того, в согласии с основоположниками, Сталин говорил о крестьянстве как целостном классе – а именно «мелкой буржуазии». Теперь, в целях порабощения деревни, Сталин, следуя отчасти за Лениным, вносит экзотические дополнения в марксизм, существенно расширяя его скромную классовую гамму благодаря превращению крестьянства в целую совокупность классов¹³⁰.

Перераспределение канонической схемы вызвало недоумение у излишне любознательных «товарищей-свердловцев», которые не смогли отыскать соответствующее определение у Ленина. Отвечая им, Сталин заявил:

Ленин говорил о двух **основных** классах. Но он знал, конечно, о существовании третьего, капиталистического класса (кулаки, городская капиталистическая буржуазия). Кулаки и городская капиталистическая буржуазия, конечно, не «сложились» как класс лишь после введения нэпа.

колеблющиеся элементы. Этим, должно быть, и объясняется внешне-оборонительный характер речей, статей и лозунгов, имевших тем не менее глубоко наступательный характер по своему внутреннему содержанию» («Троцкизм или ленинизм?», 1924).

¹²⁸ Специальный циркуляр, по его настоянию, был все же составлен. Но и там, как замечает Волкогонов, комментируя этот документ, «по существу, создавалась широкая возможность подвести под раскулачивание самые различные социальные элементы» (Указ. соч. Кн. I. Ч. 2. С. 18). См. также: *Lewin M. Who Was the Kulak? // Soviet Studies. 1966. № 2; Медведев П. А. К суду истории: Генезис и последствия сталинизма. New York, 1974. С. 201; Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России 1918–1921 гг. Иерусалим, 1987. С. 221–222; Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press, 1996. P. 30–33; Голос народа: письма и отклики рядовых граждан о событиях 1918–1932 гг. [По материалам «Крестьянской газеты»]. М., 1998. С. 102; Getty A., Naumov O. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. P. 21–22.*

¹²⁹ См.: *Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. С. 294.*

¹³⁰ Несколько более ортодоксальный способ классовой дифференциации, повсеместно употребительной в период Гражданской войны, – расчленение крестьянства на «мелких собственников» и «пролетариат», неведомо откуда взявшийся в сельской среде. «Бедное крестьянство – деревенский пролетариат и полупролетариат», – пишет, например, какой-нибудь А. Дорогойченко в статье «Крестьянство и учредилловщина», комментируя перипетии социальных конфликтов в Поволжье (Четыре месяца учредилловщины. Историко-литературный сборник. Самара, 1918). Таких определений немало у Ленина. Подробнее об этой марксистской социально-терминологической проблеме, в которой всегда путались коммунисты, см.: *Валентинов Н. Наследники Ленина. С. 105–108, 150–152.*

Они существовали как класс и до нэпа, причем существовали как класс **второстепенный**. Нэп на первых стадиях развития облегчил в известной степени рост этого класса.

В этой марксоидной эквилибристике странно, во-первых, вычленение какого-то особого класса «городской капиталистической буржуазии», чем-то отличающейся, видимо, от всей прочей городской буржуазии, а во-вторых, внезапное приобщение к этому городскому классу тех самых «кулаков», которые в других случаях трактуются лишь как «капиталистические элементы крестьянства» или даже как еще более заурядные «агенты буржуазии» в деревне. Установка, однако, ясна – так или иначе противопоставить «кулаков» крестьянам, но противопоставить так, чтобы избежать сколь-нибудь четкой дифференциации, могущей в чем-то ограничить или притормозить репрессии. Здесь та же неясность, размытость критериев, в которой он обвинил Бухарина, – но только с обратным знаком: не реалистическая, а идеологизированно-политическая. «Кулак» – это не тот, кто эксплуатирует наемный труд, а тот, кто просто чуть устроеннее, зажиточнее своих нищих односельчан. Фольклор чутко отреагировал на эту умышленную невнятицу «классовой борьбы», запечатлев ее в пародии на популярный романс: «Вам восемнадцать лет, у вас своя корова. / Вас можно раскулачить и сослать». Аморфность, произвольность сталинских дефиниций обернется гибелью для миллионов людей, зачисленных в обреченные группы простой казенной разрядкой, процентом раскулачивания, спущенным из ЦК.

Но при необходимости Сталину ничего не стоит вообще упразднить всякие классы, ибо его «окостенелый догматизм», о котором охотно рассуждали хрущевцы, всегда дополнялся феноменальной идеологической гибкостью и готовностью мгновенно отречься от любой догмы. Думаю, что известное полуюмористическое высказывание Гитлера – после разгрома СССР поручить Сталину управление захваченными территориями (поскольку «тот знает, как обращаться с русскими») – в принципе вполне могло реализоваться: светоч марксизма с ходу подыскал бы для своей новой должности потребное идеологическое обоснование. В отличие от Гитлера и Ленина он не был идеалистом. (Показательно, что в годы войны у Сталина отступает на второй план даже любимое слово «партия», и когда оно появляется, то в иерархическом списке следует за словами «правительство», «армия» и т. п., а не предшествует им, как раньше.)

В марте 1936-го, когда обсуждался проект конституции, Сталин так разъяснял своему американскому интервьюеру Говарду тот факт, что в Советском Союзе существует только одна политическая партия:

Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни – рабочих, крестьян и интеллигенции. Каждая из этих *прослоек* может иметь свои специальные интересы и отражать их через имеющиеся многочисленные общественные организации. Но коль скоро *нет классов*, коль скоро *границы между классами стираются*, коль скоро остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными *прослойками* социалистического общества, не может быть питательной почвы для создания борющихся между собой партий. Где *нет нескольких классов*, не может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса.

Все помнят, что с официальной точки зрения, закрепленной Сталиным в бесчисленных тирадах и в той же самой конституции, СССР считался государством рабочего («правлящего») класса и колхозного крестьянства, к которым примыкала интеллигентская «прослойка». (Раньше интеллигенция признавалась прослойкой между эксплуататорскими и угнетенными классами. Теперь, при социализме, стало неясно, что именно она прославляла.) В своем интервью, растиражированном «Правдой», Сталин походя смазал все эти жесткие сакральные категории. То он, полностью отменяя классы, заменяет их «прослойками» (между чем?), то сообщает, что границы между этими – уже вроде бы не существующими – классами еще

только стираются – и все для того, чтобы как-то предотвратить предвкушаемый им вопрос Говарда: почему не разрешено иметь свою партию такому классу, как крестьянство. (А как быть с несколькими партиями одного и того же «класса» на Западе, например в США?) Можно себе представить, как отреагировал бы Сталин на подобную правооппортунистическую расплывчатость, если бы ее продемонстрировал кто-нибудь другой.

В письме к С. Покровскому (май 1927 года) он порицает адресата за склочные «придирки» к его, сталинским, фразам: «Вы просто изволите придирааться, не в меру „диалектический“ товарищ». Мы, однако, не найдем ни малейших следов столь же снисходительного отношения к чужим «неточностям» у самого Сталина. В июне 1927 года, отвечая на новое письмо Покровского, он мстительно цепляется именно к нюансам, придавая им кардинальное значение и обвиняя того в манере «бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами»:

Но, признавая шепотком эту свою неправоту, Вы тут же стараетесь громогласно свести ее к пустячкам насчет «словесных» неточностей <...> Выходит, что спор шел у нас о «словесности», а не о двух *принципиально* различных концепциях! Это называется у нас, говоря мягко, – *нахальством* <...> Я думаю, что пришло время прекратить переписку с Вами.

Но он умеет и полностью игнорировать слово в тех обстоятельствах, когда к речениям оппонента придраться нельзя. Тогда Сталин, на ленинский манер, предпочитает обвинять противников – до революции меньшевиков, после революции оппозицию – в «расхождении слова с делом». Ту же риторику «дела», не нуждающегося в какой-то жалкой письменной фиксации, он внедряет и в свои положительные идеологемы. Словесные же свидетельства, собранные оппонентами, Сталин безапелляционно третирует. Этот сверхбюрократ, дотошный коллекционер досье и партдокументов обрушивается на буквоеда Слуцкого в известном директивном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» (1931):

Какие ему [Слуцкому] нужны еще документы? <...> Кто же, кроме безнадежных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам прежде всего, а не по их декларациям? <...> Почему же он предпочел менее надежный метод копания в случайно подобранных бумагах?

С единством «слова и дела» Сталин обращается столь же гибко. Скажем, в конспективной заметке «О политической стратегии и тактике русских коммунистов» (1921; впервые напечатана в Сочинениях) он их отчетливо разделяет:

«Лозунг агитации и лозунг действия. Смешивать их нельзя, опасно». А спустя несколько лет он пишет: «Нельзя ставить вопрос так, как его ставят некоторые товарищи; „рабоче-крестьянское правительство – фактически, или как агитационный лозунг“ <...> При этой постановке вопроса выходит, что партия может давать внутренне фальшивые лозунги, в которые не верит сама партия <...> Так могут поступать эсеры, меньшевики, буржуазные демократы, так как расхождение между словом и делом и обман масс являются одним из основных орудий этих умирающих партий. Но так не может ставить вопрос наша партия никогда и ни при каких условиях.

В первом случае Сталин был откровеннее, во втором – он прибегает именно к той аргументации, которую сам определил как «агитационный лозунг». Что это значит на практике, мы можем уяснить из его сверхсекретных «замечаний к тезисам товарища Зиновьева» (август 1923 года), связанным с подготовкой коммунистического путча в Германии:

Нужно прямо указать, что лозунг рабочего правительства является лишь агитационным лозунгом, питающим идею единого фронта, что он в своем окончательном виде (правительство коалиции коммунистов и социал-демократов) вообще неосуществим, что если бы он, паче чаяния, все же осуществился, то такое правительство было бы правительством паралича и дезорганизации <...> Нужно ясно сказать немецким коммунистам, что им одним придется взять власть в Германии¹³¹.

Я забыл прибавить, что «прямо и ясно», «открыто и честно» – это одна из любимейших риторических формул Сталина.

¹³¹ «Назначить Революцию в Германии на 9 ноября» // Источник. Документы русской истории. Приложение к российскому историческому журналу «Родина». Вестник Архива Президента РФ. 1995. № 5. С. 117–118. (Отдельная пагинация.)

Братья и сестры Сталина

Чрезвычайно яркий образчик коварной двусмыслицы представляет собой его знаменитое выступление 3 июля 1941 года – первое с начала войны:

Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!

Безусловно, человеческий призыв к «братьям и сестрам», столь откровенно выдававший бывшего семинариста и как бы свидетельствующий о его смятении перед лицом страшной угрозы¹³², был очень успешно рассчитан именно на патриотический и на «христианский» эффект¹³³, который продолжает и сегодня умилять одряхлевших сталинистов. Однако им стоило бы внимательнее вчитаться в его литургические тирады.

Начнем с того, что показательна уже сама иерархическая градация: сперва «товарищи» (т. е. в первую очередь члены партии, единомышленники), затем прочие «граждане» страны и лишь потом – перед «бойцами» – «братья и сестры». За исключением этих самых «братьев» и «друзей», иерархическая последовательность здесь та же, что раньше дана была в речи Молотова, произнесенной им по радио 17 сентября 1939 года по случаю советского вторжения в Польшу (в рамках договоренности с Гитлером): «Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!» А «братья и сестры» отсутствовали у Молотова просто потому, что именно к ним, по официальной версии, и направлялись советские войска – «подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белоруссам, населяющим Польшу».

Что касается Сталина, то в следующей по счету его военной речи – от 6 ноября 1941 года – наличествует только суммарное обращение «товарищи!», но далее говорится: «Наши *братья в захваченных немцами областях* нашей страны стонут под игом немецких угнетателей».

В зачине выступления, прозвучавшего на другой день и обращенного непосредственно к армии, «братья и сестры» снова сдвинуты к концу: сначала «товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники», потом «рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда» (тут строго выдержана официально-классовая субординация: рабочие, за ними крестьяне и, наконец, интеллигентская прослойка), а в заключение: «*Братья и сестры в тылу нашего врага, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!*»

В его приказе от 1 мая 1942 года установлена еще более ясная последовательность: на первом месте – армия, за ней – «партизаны и партизанки», далее рабочий класс, крестьянство и интеллигенция и после нее, уже на самом последнем месте, «*братья и сестры по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго немецких угнетателей*». А ниже, в основном тексте, сказано: «Мы хотим *освободить наших братьев украинцев,*

¹³² Еще раньше, той же ночью, со 2 на 3 июля, он по совету военных приказал переправить ленинскую мумию в Сибирь. См.: *Лопухин Ю. М.* Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина: Правда и мифы. М., 1997. С. 118.

¹³³ Ср.: «На эти „братья и сестры“ тогда обратили внимание многие. В них слышалось нечто традиционно-русское, православное, душевное» (*Громов Е.* Указ. соч. С. 320). Примерно так же оценили текст западные историки – например, Иэн Грей. «Это была историческая речь, – проникновенно пишет он, – лишенная риторики, взывающая к национальной гордости народа и коренному русскому инстинкту – защищать свою родину. Он говорил как друг и как вождь, и в речи была та уверенность, которой все ждали от него <...> „Товарищи, граждане, братья и сестры...“ – таковы были первые его слова. Они разительно отличались от его обычной формы обращения и вмиг сплотили аудиторию с ним воедино <...> Временами Сталин преувеличивал и оправдывался, но не скрывал правду» (*Grey I. Stalin; Man of History.* London, 1979. P. 329).

молдаван, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, которым подвергают их немецко-фашистские мерзавцы».

Словом, «братья и сестры» неизменно проживают под властью немцев, как явствует и из праздничного доклада от 6 ноября 1942 года:

Гитлеровские мерзавцы <...> насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших *братьев и сестер*.

Характерно, что эту функциональную специфику своим профессиональным слухом безошибочно уловил на редкость пронырливый священник из Ижевска – о. Владимир (Стефанов). Уже в самом начале 1943-го, т. е. еще задолго до поворота власти к церкви, «Правда» поместила его письмо: «Я как пастырь духовный скорблю душою за наших *братьев и сестер, подпавших во временно оккупированных областях под иго фашистов* и подвергающихся неслыханным злодеяниям, мучениям, творимым над ними немецкими фашистами». А посему, чтобы помочь Красной армии, он уже передал государству «все свои сбережения в сумме 273 тыс. рублей» (накопленные, вероятно, неустанными пастырскими трудами) – за что на следующий день, 5 января, сподобился благодарственной телеграммы от Сталина¹³⁴.

Строго иерархический зачин, отодвигающий «братьев и сестер» в самый конец инициального обращения (только с заменой классов обобщенными «трудящимися Советского Союза»), сохранится почти до конца войны, обогатившись, однако, любопытными вариациями. Вводный перечень адресатов в приказе от 1 мая 1944 года дополняет это заключительное упоминание новой формулировкой: «*Братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей и насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию!*» Теперь, после изгнания немцев с большей части советской территории, внимание Сталина всецело переключается на перемещенных лиц. Именно так и заканчивается перечень в приказе от 7 ноября 1944 года: «*Братья и сестры, насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию!*» С тех пор христианский призыв у него навсегда исчезает: отныне «братьями и сестрами» Сталина вплотную займутся Смерш и НКГБ. Но зато из вражеского стана откликнется другой бывший семинарист – генерал Власов. Манифест Комитета освобождения народов России, обнародованный им в Праге 14 ноября 1944 года, предварялся обращением: «Соотечественники! *Братья и сестры!*»¹³⁵

Если не ошибаюсь, впервые этот притягательный термин встречается у Сталина в начале 1929 года, в послании к рабочим и работницам «Красного треугольника»:

В капиталистических странах ваши братья и сестры работают по 10–12–14 часов.

¹³⁴ *Сталин И.* Соч. Т. 18. С. 310. Тем не менее Сталин иногда посылает «братский привет» и подвластным ему гражданам, собирающим деньги на боевую технику, о чем свидетельствует его благодарственная телеграмма тамбовским колхозникам. – Там же. С. 308.

¹³⁵ Цит. по: *Андреева Е.* Генерал Власов и Русское освободительное движение. Приложение 3. London, 1990. С. 339. Кстати, это далеко не единственный пример того воздействия, какое сталинская риторика оказывала на власовское движение, ментально соприродное советскому режиму. Штрик-Штрикфельд приводит рассказ видного деятеля РОД, Жиленкова (который, ко всему прочему, был еще и редактором Манифеста), о его встрече с Геббельсом в начале 1945 года. Когда тот вернул, что РОД можно было бы «распустить, если бы члены его вздумали повернуть против Третьего рейха, Жиленков как бы резко изменил тему разговора и спросил Геббельса, кто открыл Америку? И терпеливо ждал, пока Геббельс не сказал, что Колумб. – Да, – сказал тогда Жиленков. – Колумб открыл Америку. И Америка существует. А попробуйте, господин министр, теперь закрыть Америку? То же и с Русским освободительным движением» (*Штрик-Штрикфельд В.* Против Сталина и Гитлера: Генерал Власов и Русское освободительное движение. Frankfurt/M., 1975. С. 173). Нацист, посрамленный Жиленковым, не знал, что этот комиссар (и бывший секретарь одного из московских райкомов) всего лишь приспособил к новым условиям отрывок из доклада Сталина «О проекте Конституции» (1936), где, высмеивая антисоветские выпады германского официоза, тот сопоставил их с резолюцией шедринского бюрократа: «Закреть снова Америку!»

Вообще же в советской пропаганде слова «братья» или «братья и сестры» резервировались за иностранными подданными, еще не познавшими социалистической благодати, реже – за отсталыми нацменами и за иностранными компартиями, которые так и назывались «братскими»: то был их официальный титул, унаследованный от христианской риторики I Интернационала, социал-демократов и русских народовольцев. В конце 1918 года (в записке А. Мясникову и М. Калмановичу) Сталин просит ЦК и Ленина принять белорусов «как младших братьев, может быть, еще неопытных, но готовых отдать свою жизнь партийной и советской работе»¹³⁶. В 1923 году, в тезисах к XII съезду РКП, он потребовал перевоспитать советский аппарат в духе «братского внимания к нуждам и потребностям малых и отсталых национальностей», а в 1925 году высказал пожелание, «чтобы коммунист научился относиться к беспартийному, как брат к брату». В этом обозначении таился привкус некоторой неполноценности и ненадежности, который просквозил, например, в его речи на VII пленуме ИККИ (1926), когда он призвал германскую «братскую партию», также повинную в идеологических шатаниях, «помочь своим заблудившимся братьям выйти на дорогу». В 1939 году термин «братья и сестры», как мы уже знаем, адресовался «освобождаемому» населению Западной Украины и Западной Белоруссии, подвергнутому вскоре глобальным репрессиям. Но эта акция подключалась к более широкому понятию – «братская помощь». Братскими назывались союзные республики, а также «младшие» (вроде тех же белорусов) и чем-то подозрительные советские или славянские народы – так, в ноябре 1944 года, принимая варшавскую делегацию, Сталин упомянул о «братских чувствах польского народа к народам Советского Союза» (это было спустя несколько лет после Катыни и через несколько недель после того, как он радостно отдал восставших варшавских братьев на съедение немцам). Есть у него, кстати, симптоматическое выражение – «*братья по измене* рабочему классу» (1924). Да и вообще, обозначения семейного родства, как и нормальных человеческих чувств, обычно примыкают у Сталина к негативному семантическому полю. «У нас не семейный кружок, не артель личных друзей, а политическая партия рабочего класса», – наставительно заявил он в 1929 году затравленному Бухарину, который напомнил ему было о старой дружбе.

Если после всего сказанного принять во внимание, что ту самую первую свою военную речь от 3 июля 1941 года, где Сталин впервые воззвал к «братьям и сестрам», он открыл сообщением об обширных немецких захватах, то станет ясно: обращение это изначально адресовалось тем, кто уже не был для него ни «товарищем», ни «гражданином», а заведомо подозревался в нелояльности или коллаборационизме¹³⁷. (Тем более нельзя было их причислить к рабочим и прочим «трудящимся», поскольку трудились они теперь на немцев.) Жесткая и многолетняя послевоенная сегрегация всяческих «лиц, проживавших на оккупированной территории» лишь подтверждает эти выводы насчет его христианского братолюбия, символической иллюстрацией к которому может служить сталинская надпись на книге, подаренной Кирову, – «Другу моему и *брату* любимому от автора».

Это был охотничий зов Каина.

¹³⁶ Большевицкое руководство. Переписка. 1912–1927. С. 71.

¹³⁷ Можно, наконец, сослаться и на прямое свидетельство самих адресатов, обретавшихся по другую сторону фронта: «Советская пропаганда называла население „братьями и сестрами во временно занятых немцами областях“. В этом названии было больше поэзии, чем истинного отношения советского правительства к оставшейся у немцев части народа. На практике советская политика рассматривала этих братьев и сестер как лютых врагов. Против них главным образом, чаще, чем против немцев, и направлено было оружие партизан» (*Казанцев Л.* Третья сила: История одной попытки. Frankfurt/M., 1974. С. 212). Симптоматично, во всяком случае, что в составлении июльской речи Сталину помогал не кто иной, как Вышинский, известный своими юридическими достижениями. См.: *Усачев И.* Последняя роль (Воспоминания дипломатов) // Инквизитор: Сталинский прокурор Вышинский / Сост. и общ. ред. О. Е. Кутафина. М., 1992. С. 365–366.

Гиперболизация и взаимообратимость выводов

К чужим высказываниям Сталин принимает с азартом дикаря и педантизмом изувера. О чем бы ни шла речь, он тщательно выискивает в ней ту или иную разрушительную ересь, и любое еретическое слово, преломляясь в гигантских кривых зеркалах сталинской криминологии, уходит в сумрачные перспективы грядущей бойни. Так, он вгрызается в случайную обмолвку Каменева, написавшего, со ссылкой на Ленина, что «очередным лозунгом нашей партии является будто бы превращение „России из *нэпмановской*“ в Россию социалистическую». «Но одно дело, – поучает Сталин, – „нэповская Россия“ (т. е. Советская Россия, практикующая новую экономическую политику), и совершенно другое дело Россия „нэпмановская“ (т. е. такая Россия, во главе которой стоят нэпманы). [Выходит, расхожее выражение „Россия крестьянская“ подразумевало Россию, во главе которой стоят крестьяне?] Понимает ли эту разницу сам Каменев? Конечно, понимает. Почему же он выпалил тогда этот странный лозунг? По обычной беззаботности насчет вопросов теории, насчет точных теоретических определений. А между тем весьма вероятно, что этот странный лозунг *может породить* в партии кучу недоразумений, если ошибка не будет исправлена». Потом, на процессах 1936–1937 годов, выяснится, что дело, конечно, вовсе не в «беззаботности» Каменева, а в его сатанинских замыслах относительно реставрации капитализма.

Его речь, скучная и невыразительная, как мимика медведя, всегда таит угрозу. Проведение оксюморонных подмен обычно строится стадийно, посредством расширения метонимических замещений, которое доводит тезисы оппонента до их контрреволюционной противоположности. («Политика <...> вообще говоря, не исключает некоторого лукавства», – скромно замечает Сталин в письме к Демьяну Бедному от 15 августа 1924 года.)

Можно было бы, вслед за Волкогоновым, уделить немало места сталинской казуистике в брошюре «К вопросам ленинизма» по поводу различаемых Зиновьевым «возможности» построения социализма в одной стране и его «окончательной победы»¹³⁸. Зиновьевское разграничение Сталин достраивает до антиленинской ереси, но меня здесь интересует сам механизм этой инверсии и ее чекистские ориентиры:

Что все это может означать? А то, что под окончательной победой социализма в одной стране Зиновьев понимает <...> *возможность* [у Зиновьева – «*обеспеченная* возможность»] построения социалистического общества. Под победой же социализма в одной стране Зиновьев понимает такое строительство социализма, которое *не может* и не должно привести к построению социализма. Строительство на авось, без перспективы строительства социализма, при *невозможности* построить социалистическое общество – такова позиция Зиновьева.

Непостижимым образом в процессе этого виртуозного тавтологического шулерства декларируемая Зиновьевым «*обеспеченная* возможность» построения социализма превращается у Сталина в кошунственную невозможность такового, слово становится собственным антонимом. Между тем всего за несколько строк до того Сталин весьма одобрительно цитирует свои недавние высказывания по поводу той же «возможности», комментируя последнюю как раз в чисто позитивном плане:

¹³⁸ См. очень дельный разбор этого вопроса у Волкогонова, который аргументированно связывает его с семинаристскими пристрастиями Сталина (Указ. соч. Кн. II. Ч. 2. С. 139–140). Историю полемики вокруг «социализма в одной стране» и сталинских колебаний см. также у Валентинова: Неизвестный Ленин. С. 81. Там же, с. 78, говорится о том, что инициатором этой теории «был Рыков, поддержанный Бухариным, а не Сталин» (были, однако, предшественники и у Рыкова).

Что такое возможность победы социализма в одной стране? Это есть *возможность* разрешения противоречий между пролетариатом и крестьянством <...> возможность взятия власти пролетариатом и использования этой власти для построения полного социалистического общества <...> Без такой возможности строительство социализма есть строительство без уверенности построить социализм <...> Отрицание такой возможности есть неверие в дело социализма, отход от социализма. (Опускаю его дальнейшие, поразительно сбивчивые ссылки на Ленина, говорящие вопреки оратору скорее о «невозможности» построения социализма в условиях капиталистического окружения.)

А коль скоро зиновьевская «возможность», в отличие от сталинской (вернее, бухаринской), трактуется как невозможность, из нее выводятся грозные следствия, которые Сталин домысливает за Зиновьева:

Строить социализм *без возможности* построить его, *зная, что не построишь*, – вот до каких несообразностей договорился Зиновьев.

Отсюда недалеко и до прямого вредительства. Вся вина Зиновьева – в его излишней марксистской ортодоксальности, в том, что он, вслед за Лениным (а еще недавно и в полном согласии со Сталиным), убежден в необходимости революции на Западе как гарантии и для полного построения социализма в СССР. По Зиновьеву, отрицание этой интернационалистической установки «отдает душком национальной ограниченности». Бурно негодуя, Сталин продолжает передергивать, реконструируя «внутреннюю логику» рассуждений Зиновьева, дабы увязать ее с пока не упомянутым, но однозначно подразумеваемым выводом о том, что он остался тем же «штрейкбрехером революции», каким был в Октябре:

Таким образом, по Зиновьеву выходит, что признать возможность построения социализма в одной стране – это значит стать на точку зрения национальной ограниченности, а отрицать такую возможность – значит стать на точку зрения интернационализма.

Но если это верно – стоит ли вообще вести борьбу за победу над капиталистическими элементами нашего хозяйства? Не следует ли из этого, что такая победа невозможна?

Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства – вот куда приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева <...>

Не надо было брать власть в октябре 1917 года – вот к какому выводу приводит логика аргументации Зиновьева.

Если продолжить развитие «внутренней логики», то станет совершенно ясно, что человек, предпочитающий капитулировать перед капитализмом и отвергающий советскую власть («Не надо было брать власть в октябре 1917 года»), в некоей умозрительной перспективе должен примкнуть к ее врагам, приверженцам капитализма, что, собственно, и будет доказано в середине 1930-х. Пока достаточно того, что уже сейчас друг Ленина и один из лидеров Октября обличен в контрреволюционной тенденции, эксплицитно выводимой из его благонамеренных высказываний и имплицитно – из самой его биографии.

Модель криминального гиперболизма, только в кратком, а не развернутом его виде, мы найдем и у Ленина, например в его «Письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» (1919):

Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии, не поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней, тот сторонник колчаковщины, того надо истреблять беспощадно.

Кто не сдает излишков хлеба государству, тот помогает Колчаку, тот изменник и предатель рабочих и крестьян, *тот виновен в смерти и мучениях десятков тысяч* рабочих и крестьян в Красной Армии.

У Сталина этот метод просто доведен до патологического совершенства и дополнен совсем уж фантастическими инверсиями. Но и здесь он мог совершенно обоснованно сослаться – и действительно сослался – как на марксизм, так и на своего изворотливого учителя, апеллировавшего к Энгельсу. В ленинской статье «О брошюре Юниуса» (1916) сказано:

Разумеется, основное положение марксистской диалектики состоит в том, что все грани в природе и обществе условны и подвижны, что нет ни одного явления, которое бы не могло, при известных условиях, превратиться в свою противоположность.

Сталину оставалось только подыскивать эти «условия», что он и делал с захватывающей изобретательностью. В период Голодомора, 2 июня 1932 года, он в письме к Кагановичу обвинил «плаксивых и гнилых дипломатов» – Чубаря и Косиора – в том, что своими послаблениями по отношению к украинцам – умирающим от голода – они «загубят вконец Украину»¹³⁹. Все же его логические сальто-мортале, стремительная смена черного на белое, плюсов на минусы и наоборот озадачивали слишком многих большевиков, и генсеку приходилось обучать тугодумов настоящей диалектике. Одному из них, Шатуновскому, он писал:

Вы удивлены, что по мысли Сталина *новые хозяйственные кадры должны быть более опытными в техническом отношении, чем старые*. Почему, спрашивается? <...> Разве это не верно, что в период реконструктивный, когда вводится новая современная техника, старым хозкадрам приходится переучиваться по-новому, уступая нередко место новым, более подкованным техническим кадрам?

Смысловая инверсия обусловлена тут элементарной подстановкой понятий: теоретическая, узкоучебная «подкованность» новых кадров неправомерно отождествляется с практическим *опытом*, который можно накопить лишь при многолетнем использовании техники. Как мы далее увидим, этот сталинский вывод связан, помимо всего, и с общей ахронностью его мировосприятия.

Инверсии и изгибы сталинской аргументации, впрочем, иногда и его самого заводят в тупик. Так происходит, например, с другими обвинениями против Зиновьева, продиктованными несокрушимой «внутренней логикой».

Но разве не ясно после этого, что кто проповедует неверие в наши успехи по строительству социализма, тот помогает косвенно социал-демократам, тот ослабляет размах международного революционного движения, тот неизбежно *отходит от интернационализма!*..

Спрашивается – куда отходит? Ведь от интернационализма можно отойти только к национализму (русскому, советскому?). Но инкриминировать национализм Зиновьеву, только что осудившему «национальную ограниченность», Сталин все же не решился, замаскировав замешательство эмоциональным многоточием.

¹³⁹ Сталин, Каганович. Переписка. 1931–1936. М., 2001. С. 210.

Упрек, брошенный им Покровскому, которого он обвинил в манере «бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами», идеально описывает полемическую методу самого Сталина. Выступая в разгар коллективизации (декабрь 1929 года) против теории «устойчивости мелкокрестьянского хозяйства», он выдвигает совершенно оригинальный довод:

Наша практика, наша действительность дает новые аргументы против этой теории, а наши теоретики странным образом не хотят или не могут использовать это новое оружие против врагов рабочего класса. Я имею в виду практику уничтожения частной собственности на землю, практику национализации земли, освобождающую мелкого крестьянина от его рабской приверженности к своему клочку земли.

Сталину настолько понравилось это теоретическое «новое оружие», предоставленное самой действительностью, что он тут же повторил свой аргумент, противопоставив духовную свободу советского пахаря западному духовному рабству:

И именно потому, что у нас нет частной собственности на землю, у нас нет той рабской привязанности к клочку земли, которая имеется на Западе.

Можно понять странную застенчивость «теоретиков», не рискнувших воспользоваться плодотворной концепцией. Ведь точно так же освобождал крестьян от «рабской зависимости» помещик-крепостник, отбирая у них землю. Следуя сталинским рассуждениям, отобрать у матери детей – значит освободить ее от рабской привязанности к детям, а посадить человека в тюрьму – избавить от рабской приверженности к свободе. Того же сорта – диалектический пируэт, подсказанный знаменитым изречением Энгельса о «свободе как осознанной необходимости» (которое, в свою очередь, восходит к новозаветному «познайте истину, и истина сделает вас свободными»):

Внутрипартийная демократия есть <...> укрепление сознательной пролетарской дисциплины.

При каждой оказии Сталин воспевал колхозы за то, что они покончили с пагубной разрозненностью индивидуальных крестьянских хозяйств. Но, оказывается, в благоприобретенном коллективизме кроется страшная опасность:

Пока крестьяне вели индивидуальное хозяйство, – они были разрозненны и отделены друг от друга, ввиду чего контрреволюционные поползновения антисоветских элементов в крестьянской среде не могли дать большого эффекта. [А Тамбовское и пр. восстания?] Совершенно другая картина получается при переходе крестьян к колхозному хозяйству. Здесь крестьяне имеют уже в лице колхозов готовую форму массовой организации. Ввиду этого проникновение антисоветских элементов и их антисоветская деятельность могут дать гораздо больший эффект («О работе в деревне», январь 1933).

Сталин, однако, обходит молчанием противоположный вывод, неизбежно явствующий из его рассуждений: коль скоро контрреволюционные силы теперь не рассыпаны по «индивидуальным хозяйствам», а собраны в одном месте, то тем самым неизмеримо облегчается и работа ГПУ по их уничтожению.

Всем казалось, что введение нэпа представляло собой некоторую легитимизацию капитализма, поощрение, хотя и ограниченное, частной инициативы, призванной спасти Советскую Россию от последствий террористического коммунизма и продрозверстки. Но Сталин доказывает, что это глубоко ошибочное мнение.

Было бы глупо говорить <...> об «отмене» нэпа, о «возврате» к продразверстке и т. п., – бестрепетно заявляет он в апреле 1928 года, накануне коллективизации и полной ликвидации нэпа. – Никому так не выгодно теперь новая экономическая политика, как Советской власти. Но есть люди, которые думают, что нэп означает не усиление борьбы с капиталистическими элементами, в том числе и с кулачеством, на предмет их преодоления, а прекращение борьбы с кулачеством и другими капиталистическими элементами. Нечего и говорить, что такие люди не имеют ничего общего с ленинизмом, ибо таким людям нет места и не может быть места в нашей партии.

У Сталина получается, что нэп в целом означал не введение частного сектора, а, напротив, именно «усиление» борьбы с этими, бог весть откуда взявшимися «капиталистическими элементами».

Самым знаменитым среди его развернутых диалектических оксюморонов стал, конечно, тезис о неминуемом обострении классовой борьбы по мере успешного продвижения к социализму¹⁴⁰. Так, в январе 1933 года, выступая с докладом об итогах первой пятилетки («литературный шедевр», по Анри Барбюсу), Сталин заявил:

Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление <...> Надо иметь в виду, что рост мощи Советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умиравшего класса. Именно потому, что они умирают и доживают последние дни, они будут переходить от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против Советской власти. Нет такой пакости и клеветы, которых эти бывшие люди не *возвели бы* на Советскую власть и вокруг которых не *попытались бы* мобилизовать отсталые элементы. На этой почве *могут ожить* и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий <...> могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов из троцкистов и правых уклонистов.

Дисциплинированной «жизни» останется лишь подчиниться сталинскому прозрению, переведя его из сослагательного наклонения («возвели бы», «попытались бы») и категории возможного в реальность Большого террора.

Итоговое закрепление этот тезис получил в его достопамятном докладе «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников», зачитанном на февральско-мартовском пленуме 1937 года:

Чем больше мы будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорей будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных.

Сталин называл эту теорию «ленинской», но в таких случаях Сталину принято не верить. Его преемники утверждали, что концепция «обострения» трагически противоречит человеко-

¹⁴⁰ Об общебольшевистских предпосылках этой диалектики см.: *Vihavainen T. The Inner Adversary: The Struggle against Moral Mission of the Russian Intelligentsia: Washington, DC: New Academia Publishing, 2006. P. 214.*

любивому ленинизму. Жаль, что они предпочли не заметить такое, например, место из речи Ленина на IX съезде:

На нашей революции больше, чем на всякой другой, подтвердился закон, что сила революции, сила натиска, энергия, решимость и торжество ее победы усиливают вместе с тем силу сопротивления со стороны буржуазии. Чем больше мы побеждаем, тем больше капиталистические эксплуататоры учатся объединяться и переходят в более решительное наступление.

Прямого отношения к марксизму данная догма уже не имеет – она подсказана религиозными стереотипами, древним убеждением в том, что нечистая сила больше всего неистовствует перед заутреней, а вторжение Антихриста и битва с ним должны предварять пришествие Христова¹⁴¹. Из этого теоретического положения неминуемо должен вытекать и другой вывод: если, согласно Сталину, при наступательно-репрессивной политике сопротивление врагов только усиливается, то, следовательно, при более мягких ее формах оно, напротив, будет ослабевать. Но нет: в беседе с Людвигом он сетует:

Чем мягче мы относимся к нашим врагам, тем больше сопротивления эти враги нам оказывают.

В любом случае торжествует диалектика абсурда:

Высшее развитие государственной власти в целях подготовки условий для отмирания государственной власти – вот марксистская формула. Это противоречиво? Да, «противоречиво». Но противоречие это жизненное, и оно целиком отражает Марксову диалектику <...>

То же самое нужно сказать о формуле насчет национальной культуры: расцвет национальных культур (*и языков*) <...> в целях подготовки условий для отмирания и слияния их в одну общую национальную культуру (*и в один общий язык*) в период победы социализма во всем мире.

В переводе на транспортные термины все это означает, что ближайший путь из Москвы в Калугу лежит через Дальний Восток.

¹⁴¹ Ср. во введении к инквизиторскому трактату (1487): «В наше время, когда вечер мира клонится к полному закату, старое зло <...> особенно отвратительным образом проявляет себя, так как в своем великом гневе чувствует, что в его распоряжении осталось мало времени». – Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1990. С. 63. Впервые русский период был издан как раз во время «обострения», в 1930 году, – вскоре после Шахтинского дела и накануне процесса Промпартии.

Носитель короны

Любопытно проследить, как тот же прием смысловой инверсии служит Сталину в его внешнеполитических планах. В день рождения Ленина, 22 апреля 1941 года, на декаде таджикского искусства он почтил память основателя цветистым восточным слогом («Мы являемся его тенью на земле» и т. д.), подчеркнув, что

он создал новую идеологию дружбы народов, любви народов друг к другу. Была старая идеология, смысл которой заключается в том, что одна раса поднималась до небес, а другие принижались, закабалялись. *Это идеология мертвая.* Ленин создал новую идеологию, он создал партию, которая следует этой *новой идеологии, смысл которой заключается в том, что все народы равны.*

Тут оратор, согласно записи работников ТАСС и «Правды», поднял тост «за здоровье и процветание таджикского народа», что в общем-то было естественно на чествованиях такого рода. Однако продолжение здравицы решительно расходится с ее предыдущей частью:

Таджики – это настоящий народ – носитель короны, как называли их иранцы, и они, таджики, это оправдали. Это особый народ, это не узбеки, не киргизы, не казахи, это самый древний народ из всех живущих народов Средней Азии. Из всех нерусских народов, живущих в пределах СССР, таджики – единственный народ, который является не русским, не грузинским, не армянским, не тюркским, а иранской народностью. Это люди старинной культуры. Это народ очень старой и очень серьезной культуры. Вы заметили наверное, что искусство этих людей потоньше, они тоньше понимают и чувствуют искусство. Это народ, интеллигенция которого родила Фирдоуси, и недаром таджики ведут от него свои культурные традиции <...> У нас часто смешивают таджиков с узбеками, узбеков с армянами, армян с грузинами. Это смешно и неправильно <...> Таджики – народ, имеющий большую будущность в наших советских условиях. Вот почему таджикский народ должен быть окружен всемерной заботой всего нашего Советского Союза.

Совершенно очевидно, что предыдущее осуждение идеи расового превосходства и фраза о равенстве всех народов фатально расходятся с этим акцентированным превосходством высококультурных таджиков над прочими народами СССР, в том числе, как можно заключить, даже над народом русским (не раз уже объявленным у него главной силой государства). Мы знаем, что симметричная взаимообратимость полюсов сама по себе привычна для Сталина, но здесь примечательна ее внешнеполитическая прагматика, просвечивающая сквозь лирику.

В записи Г. Димитрова указанное противоречие выглядит еще резче и еще конкретнее: обозвав «мертвой» ту «идеологию, которая ставит одну расу выше других», Сталин тут же сказал, что таджикский народ «*выше стоит*, чем узбеки и казахстанцы» (неприятно к последним, видимо, связана и с их памятным тогда восстанием против коллективизации, при подавлении которого их численность уменьшилась на треть). В любом случае такие слащавые комплименты ему в общем не были свойственны. Откуда же взялась у него столь внезапная и неутолимая любовь именно к таджикам?

Сквозь залежи сталинского косноязычия и обычных для него тавтологий («из всех нерусских народов» таджики являются «не русским» народом) пробивается потаенный смысл его краткой речи, пересказанной – но не напечатанной – газетами. Ключ к ней лежит как в титуловании таджиков благородной «иранской народностью», так и в последней фразе тоста: «За то,

чтобы мы, москвичи, готовы были *в любой момент оказать помощь таджикскому народу*». Что означала на деле такая готовность, уже хорошо знали финны (потенциальные граждане несостоявшейся «Финляндской демократической республики»), прибалты, жители Бессарабии и Северной Буковины, а также украинские и белорусские *братья*, которым Сталин уже успел «подать руку помощи».

Очевидно, он готовил тогда нападение на Иран¹⁴². Нужно принять во внимание, что всего за три недели до «таджикской речи» в соседнем с тем Ираке, находившемся прежде под британским контролем, произошел пронацистский государственный переворот – к власти пришел Рашид Али, приверженец Гитлера (Советский Союз вскоре признал новое правительство). Огромные запасы нефти, необходимые англичанам для войны с нацизмом, теперь могли достаться немцам при посредстве их вишистских союзников, способных действовать прямо из Сирии.

Скверно для Британской империи обстояли и дела в Африке. Только что, в середине апреля, в Ливии немецкие войска осадили Тобрук – перед Роммелем открывался путь в Египет, где его с нетерпением ждали пронацистски настроенные офицеры (Г. А. Насер, А. Садат и множество других), – иными словами, открывался путь к Суэцкому каналу и далее на Восток. В мае 1941-го Гитлер объявит всех арабов естественными союзниками рейха.

Пронацистские и, соответственно, антибританские настроения господствовали также в невероятно богатом нефтью Иране; напомним, что Персия само свое название в 1935 году сменила на Иран именно под влиянием ариософских и расовых теорий национал-социализма. Словом, Великобритания, сражавшаяся в одиночку против Гитлера, очутилась в кольце осады. Пытаясь спасти ситуацию, к концу апреля она начала интервенцию в Ираке – с прицелом на Иран. На этом многосложном геополитическом фоне и следует рассматривать сталинский спич.

Итак, в нем он обрушился на «старую» и уже «мертвую» идеологию расового превосходства, на смену которой идет идеология «новая», ленинская. Почти к тем же выражениям он прибегнул еще в 1935-м, когда, выступая перед таджикскими и туркменскими колхозниками, заявил, что Ленин своей *новой* политикой равенства и братства народов «похоронил в гроб» *старую* – «царскую, буржуазную» политику национального угнетения. Кого же теперь Сталин собрался «похоронить в гроб»?

Пока еще, до 22 июня, он оставался нейтральным, в согласии с нацистско-советским пактом 1939 года, но такие формальности обоих вождей не стесняли. Как показало знаменитое открытие Виктора Суворова (Резуна), всесторонне подкрепленное М. Солониным и другими исследователями, с апреля 1941-го он форсировал подготовку к походу против своих берлинских партнеров по договору, приправленную газетной риторикой, получившей уже прозрачно антигерманскую тональность. Таджикская речь служит тому лишь добавочным подтверждением. Педалируя в ней конфликт с нацизмом именно в идеологической сфере, Сталин тем самым распроцался со своей прежней прогермански-пацифистской фразеологией, осуждавшей любые идеологические войны как нелепый пережиток Крестовых походов Средневековья. Под «старой» и «мертвой» он на сей раз, без всякого сомнения, подразумевал уже идеологию нацистскую, подлежащую ликвидации, – точно так же, как в речи 1935 года называл старой и уже «похороненной» политику покойного царского режима.

По другому поводу И. Курляндский отмечает, что во время пакта «он лично отредактировал передовицу в „Известиях“ от 9 ноября 1939 года „Мир или война?“. Сталин вписал в статью известный пассаж о недопустимости войны за уничтожение гитлеризма, который потом

¹⁴² Уже в январе 1938 года Сталин спрашивает Ежова: «Что сделано по выявлению и аресту *всех иранцев* в Баку и в Азербайджане?» – *Сталин И.* Соч. Т. 18. С. 145. Об этой депортации см.: *Полян П.* Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ–Мемориал, 2001. С. 94.

повторил в своем публичном выступлении Молотов. Гитлеровский режим оправдывался Сталиным демагогическими ссылками на идеологическую толерантность». Вот это высокогуманное место, процитированное Курляндским и звучащее особенно увлекательно с учетом его авторства: «Каждый человек волен выражать свое отношение к той или иной идеологии, имеет право защищать и отвергать ее, но бессмысленной и нелепой жестокостью является истребление людей из-за того, что кому-то не нравятся определенные взгляды и мировоззрение»¹⁴³. Можно прибавить, что еще раньше, 31 октября, в том самом молотовском докладе на заседании ВС, где осуждалось средневековое варварство идеологических Крестовых походов, та же мысль прозвучала в чуть иной, но тоже прогерманской формулировке: «Любой человек поймет, что *идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной*. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за „уничтожение гитлеризма“, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за „демократию“»¹⁴⁴. Похоже, теперь Сталин уверовал в скорое *уничтожение* гитлеровской идеологии – вместе с ее носителями.

За неделю до «таджикской речи», 14 апреля, Вс. Вишневский, председатель Оборонной комиссии ССП, после встречи с Ворошиловым отметил в дневнике: «Наш час, время открытой борьбы, „священных боев“ (по выражению Молотова в одной недавней беседе) – все ближе!»¹⁴⁵ Утром того самого дня – 22 апреля, – когда Сталин превозносил таджиков в своем вечернем выступлении, его правительство уже успело заявить Берлину протест в связи с многочисленными нарушениями германскими ВВС воздушного пространства СССР. Это был один из ранних порывов подготовленной пропагандистской бури. На праздник 1 мая в «Правде» вышла статья, где, как в «таджикской речи», снова осуждалась «выброшенная на свалку истории мертвая идеология, делящая людей на „высшие“ и „низшие“ расы». Одновременно советское руководство сохраняло и камуфляжные реликты прогерманского курса (признание нового режима в Багдаде, разрыв с оккупированной Гитлером Югославией и пр.), стараясь сбить с толку немцев и западных наблюдателей. Еще через три дня, 4 мая 1941 года, Сталин сделал себя председателем Совета министров (соответствующий указ президиума ВС вышел только 7-го)¹⁴⁶ – что справедливо расценивается В. Суворовым и другими историками как краеугольный момент в подготовке «освободительного похода». На следующий день, 5 мая, он выступил в Кремле перед выпускниками военных академий со своей знаменитой ныне антигерманской речью о новой, наступательной политике Советского Союза и о «расширении социалистического фронта силой оружия»¹⁴⁷

Очевидно, Иранская кампания должна была стать важной, но лишь вспомогательной частью этой великой войны и, скорее всего, в случае успеха не ограничилась бы Северным Ираном – впереди лежали нефтеносные поля, примыкающие к Персидскому заливу. Ведь еще в ноябре 1940 года Молотов потребовал у Гитлера, среди прочего, «признания территориальных устремлений СССР южнее Баку и Батуми в направлении к Персидскому заливу»¹⁴⁸. Разумеется, Сталину жизненно важно было перед наступлением на Германию лишить ее нефти (что летом 1940-го уже показало его продвижение к нефтепромыслам Плоешти, резонно напугавшее фюрера) и самому захватить этот клад, отобрав его заодно у ненавистной ему Великобритании. Получилось, однако, совсем иначе, в том числе и на Среднем Востоке. Оттого подготовленное, несомненно, заранее мощное вторжение в Иран – силами трех советских армий

¹⁴³ Курляндский И. А. Указ. соч. С. 52.

¹⁴⁴ Правда. 1939. 1 ноября.

¹⁴⁵ Цит. по: Другая война: 1939–1945 / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996. С. 23.

¹⁴⁶ См.: Жуков Ю. Сталин: Тайны власти. М., 2005. С. 98–99.

¹⁴⁷ «Гитлер понимает, что мы ведем дело к тому, чтобы дать ему по затылку», – написал тогда Вишневский в своем дневнике. – Другая война: 1939–1945. С. 23.

¹⁴⁸ Ганелин Р. Ш. Указ. соч. С. 191.

и тысячи танков – он предпринял лишь 25 августа, но в совершенно новых условиях и по необходимости скоординировав его с новым, британским союзником.

В любом случае в силовых и карательных ведомствах *освобожденного* им – полностью или частично – Иранского государства он хотел, видимо, опираться именно на своих советских таджиков, которых заблаговременно и объявил для того царственной элитой Ирана. Пятую колонну Сталин всегда приводил с собой, хотя заранее готовил ей, конечно, и опору из местных коллаборантов. Так, в оккупированную им Прибалтику он привез в обозе готовые кадры из Ленинграда и аналогичное решение вынашивал, затевая свою «карело-финскую» авантюру (а после войны правящей кастой в Восточной Германии, помимо немецких коммунистов, доставленных им из Советского Союза, станут саксонцы). О сообразном этнополитическом прецеденте, возможно вдохновившем вождя в истории с таджиками, напомнил мне З. Барселла: долгое время коммунистической Монголией при Чойбалсане управляли родственные монголам буряты, присланные туда прямо из Советской России. У советских таджиков, кстати, не было даже общей границы с родным Ираном, чью корону так щедро сулил им Сталин.

Все же странный титул «носителя короны», которым он наградил их авансом, возник из самой сталинской поэтики, заикленной, как мы помним, на ассоциациях по смежности. Ведь Иран был монархией, и корону его носил «царь царей» – шахиншах. Свергли его только в сентябре 1941 года – при вступлении РККА в Тегеран¹⁴⁹ (потом, в начале 1949-го, советские агенты совершат неудачное покушение на его преемника – Мохаммада Резу Пехлеви). Оттого-то, чуть ли не автоматически, и проявился у Сталина этот ассоциативный ход, побудивший его увенчать иранской *короной* своих домашних, подручных таджиков. Из того же ассоциативно-монархического пучка прорастает следом и упоминание о культовом для Ирана *Фирдоуси* как родоначальнике таджикской культуры – ибо он был автором знаменитой «Шах-наме», т. е. «Книги царей», восхваляющей деяния персидских государей.

Во время и после Второй мировой войны вождь переключится с таджиков на оккупированный им и управляемый из Баку Багировым Иранский Азербайджан – объявленный «Демократической республикой», – вознамерившись, как известно, «воссоединить» его с Азербайджаном советским (точно так же как он надумал было «воссоединить» грузинские и армянские территории Турции с советской Грузией и Арменией). Сгодился бы, однако, и смежный таджикский вариант. Из Ирана Сталин вообще ушел с величайшей неохотой и только через год после окончания войны в Европе – в мае 1946-го. Разведывательная и подрывная деятельность, энергично начатая Советами в Персии еще в 1920-е годы¹⁵⁰ и неизменно усовершенствованная в период советской оккупации северной части страны, бурно развивалась теперь с опорой на местных коммунистов, или так называемую народную партию (Туде), которую Сталин создал осенью 1941-го, сразу после вторжения, и которая повсеместно располагала превосходно налаженной агентурой.

Спустя несколько лет, в январе 1948 года, после совещания со Ждановым и руководством Таджикистана Сталин переслал текст своей речи Б. Гафурову, первому секретарю ЦК тамошней компартии. Известно лишь, что тому велено было «поднять патриотизм» подданных и интенсифицировать «изучение богатого прошлого таджикского народа»; 3 июня 1949-го Гафуров отчитался в том, что в проделанной работе «большую помощь» оказало ему выступление 22 апреля 1941 года. Однако, как сказано в невежинском комментарии, опубликовано оно все же «не было, поскольку отсутствовало разрешение И. В. Сталина», так что с содержанием речи ознакомился лишь «узкий круг интеллигенции Таджикской ССР». Еще один текст

¹⁴⁹ В виде исключения позволю себе здесь сослаться на очень толковую и содержательную статью «Иранская операция» в Википедии. Общую же библиографию по предыстории и истории Второй мировой войны я опускаю ввиду ее несметного изобилия и из уважения к читателю, который и без меня может в ней ориентироваться.

¹⁵⁰ См.: Агабеков Г. С. ЧК за работой. Берлин: Стрела, 1931 (Репринтное издание Я. Вайскопфа. Иерусалим, 1983). С. 178 и след.

был получен Центроархивом в апреле 1949 года от видного ираниста И. С. Брагинского – специалиста по разложению войск и населения противника, а с 1949 по 1952 год преподавателя Военного института иностранных переводчиков – т. е. прямого сотрудника ГРУ. Последнее обстоятельство не оставляет сомнений в дальнейших перспективах «таджикской речи».

Когда после смерти Сталина, летом 1953-го, обсуждался вопрос о допечатке его Сочинений, ее собирались было включить в 14-й том – но уже без «короны» Ирана и неудобных сентенций о превосходстве таджиков над другими народами¹⁵¹. Издание не состоялось, а товарищ Гафуров и его соплеменники так и не сподобились иранской короны.

¹⁵¹ *Невежин В. А.* Застольные речи Сталина. С. 247–266. Согласно воспоминаниям Н. Вирты, не пропущенным, впрочем, к публикации, Сталин тогда же сказал: «Я буду жить до тех пор, пока все славяне – поляки, болгары, чехи, словаки, словены, сербы – будут с нами!» – Там же. С. 268–269. Безусловно, теперь неуместным вождю показалось как само ограничение, налагаемое им на собственную жизнь («до тех пор, пока...»), так и панегирик славянам, включая словен и сербов, не слишком актуальный на фоне отношений с Тито. См. также: *Невежин В.* Застолья Иосифа Сталина. Кн. 1. Большие кремлевские приемы. М., 2011. С. 309–327.

Кумулятивные построения

Тотальная гиперболизация того или иного частного обстоятельства производится в виде развертывания якобы вытекающих из него неминуемых выводов, которые проецируются в будущее. «Чтобы руководить, надо предвидеть», – заметил как-то Сталин. Провидческий дар принимает у него полицейско-профилактические формы. На XVI съезде он вменяет в вину троцкизму «признание свободы фракционных группировок». Сразу же нагнетаются предполагаемые губительные последствия такого подхода:

А что это значит? Это значит провозглашение свободы политических партий и фракций. Это значит, что вслед за свободой политических группировок в партии должна прийти свобода политических партий в стране, т. е. буржуазной демократии. Стало быть, мы имеем здесь признание свободы фракционных группировок вплоть до допущения политических партий в стране диктатуры пролетариата.

Такие же футурологические ходы используются и против так называемой правой оппозиции. В своей речи на I съезде колхозников-ударников (февраль 1933 года) Сталин осудил мечту о раскрепощении крестьянства от колхозного строя, обрисовав ее гипотетические итоги.

Ибо что значит вернуться к единоличному хозяйству и восстановить кулачество? Это значит восстановить кулацкую кабалу, восстановить эксплуатацию крестьянства кулачеством и дать кулаку власть. Но можно ли восстановить кулачество и сохранить вместе с тем Советскую власть? Нет, нельзя. Восстановление кулачества *должно* повести к созданию кулацкой власти и к ликвидации Советской власти, – стало быть, оно *должно* повести к образованию буржуазного правительства. А образование буржуазного правительства *должно в свою очередь* вести к восстановлению помещиков [в которых, видимо, особенно заинтересованы кулаки, захватившие их землю] и капиталистов, к восстановлению капитализма.

Непонятно только, почему вся эта ужасающая перспектива не воплотилась еще при нэпе, с его единоличным хозяйством и «кулаками». Больше всего, однако, она смахивает на популярную западноевропейскую сказку о молочнице или о глупой невесте, разбившей кувшин с молоком, либо на ее кавказские аналоги вроде грузинской сказки «Спор из-за ничего». Сюжеты такого типа в фольклористике называются цепными, или кумулятивными (cumulative tales, Kettermaerchen). В. Пропп, посвятивший им специальное исследование, отмечает, что в них «самые события ничтожны (или начинаются с ничтожных) и ничтожность этих событий иногда стоит в комическом контрасте с чудовищным нарастанием вытекающих из них последствий и с конечной катастрофой (начало: разбилось яичко, конец – сгорает вся деревня)».

Если учесть, что «основной художественный прием этих сказок состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же действий или элементов»¹⁵², то в фольклорно-кумулятивном нарративе мы легко распознаем один из важнейших источников бесконечных тавтологий Сталина, включая сюда и его ступенчатые квазилогические композиции. Цепь, звенья – один из самых любимых его образов, который он воспроизводит с маниакальной настойчивостью:

В этот период *основным звеном и основной задачей в цепи звеньев и в цепи задач* <...> оказалось создание общерусской нелегальной газеты.

¹⁵² Пропп В. Я. Поэтика фольклора. М., 1998. С. 253.

Реализация этой постоянной метафоры может войти у него в прямое столкновение с законами физики:

Очевидно, что «верх» и «низ» представляют тут одну цепь, и *если цепь порвалась внизу, то должна пасть вся цепь.*

Наряду с футурологическими прогнозами, нередкая у Сталина разновидность кумулятивных композиций – синхроническое, но тоже поэтапное расширение начальной посылки, осуществляемое посредством присоединения к ней все новых и новых логических звеньев, так что исходное явление становится ядром некоей грандиозной структуры обычно отрицательного свойства. Этот подход он отработывал еще на родном Кавказе. В не раз цитировавшейся здесь брошюре 1905 года «Коротко о партийных разногласиях» он соответственно оспаривает своего меньшевистского оппонента:

Автор упрямо твердит, будто «ленинизм в корне противоречит марксизму», он твердит, не понимая, куда приведет его эта «идея». Поверим ему на минуту, что ленинизм в самом деле «в корне противоречит марксизму». А дальше? Что из этого получится? Вот что. «Ленинизм увлек за собой» «Искру» (старую «Искру») – этого не отрицает и автор, – следовательно, и «Искра» «в корне противоречит марксизму». Второй съезд партии большинством 35 голосов признал «Искру» центральным органом партии и с большой похвалой отозвался о ее заслугах, следовательно, и этот съезд, и его программа, и его тактика «в корне противоречат марксизму»... Смешно, не правда ли, читатель?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.